

Мэрилин
Робинсон



Пулитцеровская
премия

Галаад

[роман]



Мэрилин Робинсон

Галаад

Marilynne Robinson
GILEAD

© Marilynne Robinson, 2004

© Перевод. Е. Филиппова, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

* * *

*Посвящается моим дорогим родителям –
Джону и Элен Саммерс*

Вчера вечером я сказал тебе, что, возможно, уйду через какое-то время, и ты спросил:

– Куда?

И я ответил:

– Я уйду к Господу.

И ты спросил:

– Почему?

И я сказал:

– Потому что я уже старый.

И ты возразил:

– Я думаю, ты не старый. – И, вложив свою руку в мою, добавил: – Ты не очень старый, – как будто это все объясняло.

Я сказал тебе, что, быть может, твоя жизнь будет сильно отличаться от моей и от той жизни, что мы прожили вместе, и это чудесно: есть много возможностей прожить жизнь хорошо.

А ты ответил:

– Мама уже говорила мне это. – А потом ты сказал: – Не смейся! – потому что думал, как будто я смеюсь над тобой. Ты потянулся ко мне и приложил пальцы к моим губам и посмотрел на меня с таким выражением, которого я не видел ни на одном лице, кроме лица твоей матери. Некая разъяренная гордость, неистовая и безжалостная. Всякий раз я недоумеваю, как она своим испепеляющим взглядом не спалила мне брови. Мне будет не хватать этих взглядов.

Глупо подозревать, будто усопшим может чего-то не хватать. Если ты прочитаешь это письмо, будучи взрослым мужчиной, – а я надеюсь, так и случится, – к тому моменту меня не будет уже много лет. Я буду знать бóльшую часть из того, что известно мертвым, но, скорее всего, оставлю эти сведения при себе. Похоже, именно так и должно быть.

Не знаю, сколько раз люди спрашивали меня, что такое смерть, иногда за час или два до того, как узнавали это сами. Даже когда я был молод, люди, которым было столько же лет, сколько мне сейчас, задавали вопросы, хватали меня за руку и буравили стариковскими глазами, покрытыми пеленой, как будто знали, что мне все известно, и собирались *заставить* меня рассказать правду. Раньше я говорил: это примерно то же

самое, что вернуться домой. В этом мире у нас дома нет, говорил я, а потом отправлялся знакомой дорогой в свое жилище, готовил себе кофе, бутерброд с яичницей и слушал радио, когда оно только появилось, чаще всего в темноте. Помнишь этот дом? Думаю, помнишь, хотя бы немного. Мое детство прошло в домах приходских священников. Бóльшую часть жизни я провел в этом доме, а в несметном числе других подобных жилищ побывал в качестве гостя: друзья моего отца и многие родственники тоже жили при церкви. И, когда я задумывался об этом в те годы, а это случалось нечасто, мне казалось, что это худший дом из всех – самый унылый и открытый всем ветрам. Что ж, так я тогда думал. Это замечательный старый дом, но в те времена я сидел тут совсем один. И потому дом казался мне чужим. Я не знал, каково мое место в мире, и чувствовал себя неуютно. Теперь все иначе.

Но теперь мне говорят, что сердце у меня сдает. Врач поставил диагноз *angina pectoris*, или стенокардия, звучит как теологический термин, наподобие «мизерокардии»^[1]. Что ж, в мои годы это неудивительно. Мой отец умер в почтенном возрасте, а вот его сестры прожили недолгую жизнь. Так что я должен испытывать чувство благодарности. Еще мне действительно жаль, что я почти ничего не могу оставить тебе и твоей матери. Лишь пару старых книг, которые больше никому не нужны. Я не имел заработков, которыми стоило бы гордиться, и никогда не обращал внимания на деньги, которые оказывались в моем распоряжении. Меньше всего я думал о том, что у меня останутся жена и ребенок, поверь. Я был бы лучшим отцом, если бы знал. Я бы что-то припас для вас.

Это самое главное, о чем я хочу сказать: мне очень жаль, что тебе и твоей матери, как я знаю, пришлось пережить тяжелые времена без достойной поддержки с моей стороны, если не считать молитв – я ведь все время молюсь. Я делал это, пока жил, и продолжаю делать и сейчас, если это возможно в следующей жизни.

Я слышу, как ты разговариваешь с матерью: ты спрашиваешь – она отвечает. Я слышу не слова, а лишь звук ваших голосов. Ты не любишь ложиться спать, и каждый вечер ей приходится в очередной раз уговаривать тебя отойти ко сну. Я никогда не слышу, как она поет, только по вечерам, когда она баюкает тебя в соседней комнате. И даже тогда я не могу разобрать, какую песню она поет. Она поет очень тихо. Мне кажется, у нее прекрасно получается, но когда я говорю ей об этом, она смеется.

На самом деле я больше не могу судить, что прекрасно, а что – нет. На днях на улице я прошел мимо двух молодых людей. Я знаю, кто они, – оба работают в гараже. Они не ходят в церковь, ни тот, ни другой, –

приличные, хотя и не самые честные, молодые парни, которые жить не могут без шуток. И вот они стояли, опершись на стену гаража, в солнечном свете и покуривали. Они всегда такие черные от машинного масла и так пропитаны бензином, что я поражаюсь, как они сами не загораются. Они отпускали шуточки, как обычно, и заходились недобрым смехом. И я увидел в этом красоту. Изумительно наблюдать за тем, как люди смеются, всецело отдаваясь этому процессу. Иногда им действительно тяжело побороть порыв разразиться хохотом. Я довольно часто наблюдаю такое явление в церкви. Поэтому мне интересно, что это такое и откуда берется, и еще мне интересно, что именно смех изгоняет из тела, ведь ты не можешь остановиться, пока не закончишь. В некотором роде, я полагаю, это сродни потребности выплакаться, только смех люди растрачивают с большей легкостью.

Завидев меня, они, разумеется, перестали шутить, но я видел, что про себя они продолжают смеяться, задаваясь вопросом, что долетело до ушей старого проповедника.

Мне так хотелось сказать им, что я тоже могу оценить хорошую шутку, как любой другой. В жизни меня много раз посещало желание сказать это. Но люди не готовы с этим мириться. Они хотят, чтобы ты держался в стороне. Мне хотелось сказать: «Я уже умираю, и у меня осталось не так много возможностей посмеяться, по крайней мере в этом мире». Но, услышав такое, они приняли бы серьезный вид и стали бы вести себя с подчеркнутой вежливостью, я полагаю. Я буду молчать о своей болезни, сколько смогу. Для умирающего я чувствую себя неплохо и благодарен за это Господу. Разумеется, твоя мать обо всем знает. Она сказала, если я хорошо себя чувствую, быть может, врач ошибается. Но, когда человек находится в таком возрасте, как я, доктор вряд ли может сильно ошибаться.

Вот что самое странное в жизни священника. Люди меняют тему разговора, когда видят, что ты приближаешься. А иногда те же самые люди приходят к тебе и рассказывают самые удивительные истории. Очень многое скрыто под фасадом, и все знают об этом. Бездна зла, и ужаса, и вины, и одиночества – все это там, где ты точно не рассчитывал их найти.

Отец моей матери был проповедником, отец моего отца – тоже, как и его отец, а до этого – кто его знает... Но догадаться можно без труда. Проповедничество было для них второй натурой, как и для меня. Все они были хорошими людьми, но если мне и стоило перенять у них одно умение, которым я так и не овладел, то это способность держать себя в руках. Это мудрость, которую я должен был постичь много лет назад. Даже

сейчас, когда учащенный пульс навевает мне мысли о вечном, я выхожу из себя, если застрял ящик в шкафу или я положил очки не на то место. Я рассказываю тебе об этом, для того чтобы ты не допускал развития такой дурной привычки.

Неистовый гнев, который проявляется слишком часто или в неподходящий момент, может разрушить гораздо больше, чем ты представляешь. И наибольшее внимание уделяй тому, что говоришь. «Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает: и язык – огонь, прикраса неправды»^[2], – вот в чем истина. Когда мой отец состарился, он написал об этом в письме, которое отправил мне. И, как у меня случилось, я его сжег. Бросил письмо его прямо в камин. И тогда мой поступок удивил меня намного больше, чем удивляет сейчас, когда я вспоминаю об этом.

Полагаю, самое время провести эксперимент над откровенностью. Теперь я говорю все это с должным уважением. Мой отец был из тех людей, которые, как он сам говорил, живут по принципам. Во всех поступках он старался оставаться верным истине, как он ее понимал. Но что-то в манере его повествования об этом предмете разочаровывало и, должен признаться, не только меня. Я говорю это, несмотря на все то внимание и время, которые он посвятил моему воспитанию. За это я навеки в долгу перед ним, хотя он сам мог бы с этим поспорить. Упокой Господь его душу, ибо я точно знаю, что разочаровал его. Удивительно размышлять об этом. Мы желали друг другу только добра.

Что ж, «слухом услышите, и не уразумеете: и глазами смотреть будете, и не увидите»^[3], как учит нас Господь. Я не могу утверждать, что постиг смысл этих слов, хотя не счесть, сколько раз их слышал и ссылаясь на них в проповедях. Это всего лишь заявление о глубоко загадочном факте. Можно знать что-то о смерти и оставаться во всех отношениях невежественным в этом предмете. Человек может знать собственного отца или сына, но их не будет связывать ничего, кроме верности, любви и взаимного непонимания.

Я упомянул об этом лишь для того, чтобы сказать: люди, которые испытывают некое сожаление по отношению к тебе, будут думать, что ты злишься, и различат гнев в том, что ты делаешь, даже если ты спокойно живешь по своему усмотрению. Они заставят тебя сомневаться в себе, что, в зависимости от тяжести ситуации, может привести к серьезному помрачению рассудка и потере времени. Жаль, я не понял этого раньше. Даже вспоминая об этом, я чувствую, как прихожу в ярость. Раздражение – форма гнева, я это признаю.

Одно из великих преимуществ, которые дает служение Богу, состоит в том, что такое призвание учит тебя сосредотачиваться. Ты начинаешь различать, что действительно нужно сделать, а что можно спокойно проигнорировать. Если я могу передать тебе хоть какую-то мудрость, то этот секрет – самый главный.

Ты благословляешь наш дом своим присутствием чуть меньше семи лет, и для меня это не самые здоровые годы, ведь моя жизнь клонится к закату. Когда ты появился, я уже не мог изменить привычный уклад, чтобы обеспечить вас обоих. И все равно я думаю об этом и молюсь. Я очень часто размышляю об этом. Хочу, чтобы ты это знал.

Выдалась прекрасная весна, и на дворе стоит очередной прекрасный день. Ты почти опоздал в школу. Мы поставили тебя на стул, и ты жевал тост с джемом, пока мама чистила тебе туфли, а я причесывал волосы. Тебе задали целую страницу примеров, которые ты должен был решить вчера вечером, а ты корпел над ними с утра в поиске верных вариантов ответа. Ты похож на мать – так же серьезно ко всему относишься. Старики прозвали тебя «дьякон», но эта серьезность передалась не по моей линии. Я никогда не видел ничего подобного, пока не повстречал твою маму. Впрочем, это справедливо, если не считать дедушку. Я не мог понять, что вижу перед собой – ярость или грусть, – и недоумевал, какое событие из жизни навеки отпечаталось у нее в глазах. А потом, когда тебе было около трех лет – совсем еще кроха, – я как-то утром зашел в детскую. Ты сидел на полу в лучах солнечного света в пижамке с кнопками, пытаешься разобраться, как починить сломанный восковой мелок. И ты поднял на меня глаза и одарил тем же самым взглядом. Я много раз вспоминал это мгновение. Могу признаться: иногда мне казалось, что ты смотрел сквозь саму жизнь, видя несчастья, от которых я молил Бога тебя уберечь, и просил меня любезно объяснить, что происходит.

«Ты совсем как они, все эти старики из Библии», – говорит мне твоя мама. Это было бы правдой, если бы я умудрился прожить сто двадцать лет и, быть может, обзавестись парочкой коров и быков, а также слуг и прислужниц. Отец оставил мне профессию, которая оказалась моим призванием. Но факт в том, что оно было моей второй натурой, я с ним вырос. А ты – навряд ли.

Я увидел, как мимо окна пролетел мыльный пузырь, пухлый и дрожащий, дозревший до цвета синей стрекозы, который пузыри принимают перед тем, как лопнуть. И я посмотрел вниз и увидел тебя и твою мать: вы пускали мыльные пузыри прямо в кошку, заполняя ими все

вокруг, так что бедное создание было вне себя от восторга. Она просто кувыркалась в воздухе, наша беззаботная Соупи! Часть пузырей летала меж ветвей, другие поднимались над кронами деревьев. Вы оба были слишком заняты кошкой, чтобы заметить небесные последствия своих земных дел. Они были так прекрасны. На маме было синее платье, а на тебе – красная рубашка, и вы опускались на колени прямо на землю, а Соупи ютилась между вами, и вся эта сверкающая масса пузырей уносилась вверх, и повсюду звучал смех. Ах, эта жизнь, этот мир...

Мама сказала тебе, что я пишу твою родословную, и тебе, похоже, очень понравилась эта затея. Итак, что мне написать для тебя? Я, Джон Эймс, родился в 1880 году от Рождества Христова в штате Канзас. Я сын Джона Эймса и Марты Тернер Эймс, внук Джона Эймса и Маргарет Годд Эймс. На момент составления этого письма я прожил семьдесят шесть лет, семьдесят четыре из которых провел здесь, в Галааде, штат Айова, за исключением учебы в колледже и семинарии.

Что еще тебе рассказать?

Когда мне было двенадцать, отец отвел меня на могилу деда. К тому времени моя семья прожила в Галааде около десяти лет, и отец служил в местной церкви. Его отец, который родился в штате Мэн и приехал в Канзас в 1830-х, жил с нами уже несколько лет после выхода на пенсию. Потом старик сбежал, чтобы стать кем-то вроде странствующего проповедника, по крайней мере, мы так думали. Он умер в Канзасе и там же обрел вечное пристанище рядом с городком, в котором почти не осталось людей. Засуха изгнала большинство тех, кто еще не переехал в селения поближе к железной дороге. Разумеется, городок образовался на этом месте лишь потому, что дело было в Канзасе и там селились люди, которые осваивали «свободные земли»^[4] и не особенно задумывались о будущем. Я не часто использую выражение «Богом забытый», но, когда думаю об этом месте, именно эти слова приходят на ум. Отцу потребовались месяцы на то, чтобы узнать, где упокоился с миром старик: бесчисленные запросы в церкви, газеты и так далее. Он вложил в это массу усилий. Наконец кто-то отозвался и прислал нам маленькую посылку с часами, потертой старой Библией и какими-то конвертами, в которых, как я узнал позже, хранились лишь несколько из многочисленных запросов отца о помощи в розыске деда. Их, несомненно, передавали старику добрые люди в надежде убедить его вернуться домой.

Моего отца глубоко печалило то, что последние слова, с которыми он

обратился к своему отцу, были произнесены в гневе и в этой жизни между ними никогда не наступит примирение. Он действительно уважал отца, и ему было тяжело принять то, что все закончилось именно так.

Все это происходило в 1892 году, когда путешествовать было довольно сложно. Мы доехали на поезде так далеко, как только могли, а потом отец арендовал фургон с упряжкой лошадей. Все это превышало наши потребности, но ничего другого найти не удалось. Мы пару раз поехали неверной дорогой и заблудились, да и с лошадьми нам пришлось тяжело – их надо было все время поить. В итоге мы оставили их на попечение какому-то фермеру и дальше отправились пешком. Дороги были ужасны: те, по которым часто ходят, утопали в пыли, а те, что не пользовались популярностью, были изрезаны колеями. Мой отец нес в рогожном мешке инструменты, на случай если понадобится навести на могиле порядок, а я тащил то, что у нас считалось едой, – сухой паек: вяленое мясо и пару мелких желтых яблок, которые мы сорвали по дороге. Еще в моем мешке лежали рубашки и носки на смену, только к тому времени они были уже грязные.

На самом деле в то время у отца не хватало денег на поездку, но он так много думал о ней, что никак не мог подождать, пока накопит нужную сумму. Я сказал ему, что тоже должен ехать, и он с уважением отнесся к моему желанию, хотя это осложнило наше путешествие. Моя мать читала о том, что к западу от нас выдалась страшная засуха, и отнюдь не обрадовалась, когда отец сказал, что собирается взять меня с собой. Он объяснил ей, что поездка будет носить образовательный характер, и, разумеется, так оно и было. Мой отец твердо вознамерился найти эту могилу, несмотря на любые трудности. Никогда раньше в жизни я не задавался вопросом, где буду к тому моменту, когда сделаю следующий глоток воды. И я считаю так: раз с тех пор мне ни разу не пришлось задуматься об этом, значит, это один из даров, что ниспослал мне Господь. Иногда мне действительно казалось, что мы пройдем еще немного и умрем. Однажды, когда отец собирал палки для костра и подавал их мне, он сказал, что мы как Авраам и Исаак на пути к горе Мориа. Я и сам так думал.

Дела обстояли так плохо, что мы не могли купить еды. Мы остановились у фермы и обратились к хозяйке, а она вытащила из шкафа сверток и показала нам пару монет и купюр со словами: «Я с таким же успехом могла бы пойти в магазин с деньгами Конфедерации». Большой магазин закрылся, и она не могла купить ни соли, ни сахара, ни муки. Мы обменяли наше жалкое вяленое мясо – с тех пор я его не выношу – на два

вареных яйца и две вареные картошки, которые даже без соли показались мне необыкновенно вкусными.

Потом отец стал спрашивать ее о своем отце, и она сказала: «Что ж, да, он бывал в наших краях». Она не знала, что он умер, зато ей было известно, где его могли похоронить. Она показала нам едва сохранившуюся дорогу, которая должна была привести нас прямо в нужное место. От фермы идти предстояло не больше трех миль. Дорога поросла травой, но, когда мы пошли по ней, я все равно увидел борозды. В них трава была ниже, потому что земля оставалась слишком плотной. Мы дважды обошли кладбище. Два или три надгробия упали, а все кладбище поросло травой и сорняками. На третий раз отец заметил столб ограды, мы подошли к нему и увидели горстку могил, ряд из семи или, быть может, восьми, надгробий, а за ними – еще полряда под мертвой бурой травой. Я помню, что этот неполный ряд навеял на меня грустные мысли. Во втором ряду мы нашли табличку, которую кто-то смастерил из куска коры, забив в него гвозди и загнув их так, чтобы они превратились в надпись: «ПРЕП ЭЙМС». «Р» больше походила на «А», а «С» – на перевернутую «З», но ошибки быть не могло.

Уже наступил вечер, и мы вернулись на ферму той же женщины и помылись в ее баке, попили из ее колодца и поспали на ее сеновале. На ужин она накормила нас кукурузной кашей. Я полюбил эту женщину, как вторую мать. Полюбил до слез. Мы встали еще до рассвета, чтобы подоить коров и принести ей ведро воды, а она встретила нас у двери с завтраком из жареных кукурузных лепешек, намазанных конфитюром и украшенных ложечкой сливок. Мы так и ели, стоя на веранде в холоде и темноте, и это было совершенно чудесно.

Потом отец вернулся на кладбище, которое представляло собой всего лишь клочок земли, окруженный полуразвалившимся забором с воротами, связанными цепью с альпийским колокольчиком. Мы с отцом подлатали забор, как могли. Он слегка взрыхлил землю на могиле складным ножом. Потом отец решил еще раз сходить на ферму и одолжить пару мотыг, чтобы нам было легче. Он сказал: «Мы вполне можем присмотреть за этими ребятами, пока мы здесь». На этот раз нас ждал ужин в виде рагу из фасоли. Я не помню, как звали ту женщину, и очень сожалею об этом. У нее не хватало двух фаланг на одном указательном пальце, а еще она шепелявила. Тогда она показалась мне старой, но, теперь я думаю, это была всего лишь деревенская женщина, пытавшаяся сохранить достоинство и рассудок в стараниях выжить, женщина, которая очень устала и осталась совершенно одна. Отец сказал, ее акцент напоминает

речь жителей штата Мэн, но напрямую не спрашивал ее об этом. Она расплакалась, когда мы стали прощаться, и вытерла лицо фартуком. Отец спросил, не хочет ли она передать с нами кому-нибудь письмо или записку, но она отказалась. Он поинтересовался, не желает ли она присоединиться к нам, она поблагодарила, покачала головой и произнесла: «У меня же корова». Потом добавила: «Все наладится, когда придут дожди».

Это кладбище было самым одиноким местом на свете, которое только можно представить. Но, если бы я сказал, что оно вскоре могло слиться с природой, тебе показалось бы, как будто в нем чувствовалась какая-то жизнь. Однако вся земля растрескалась и была иссушена солнцем. Сложно было вообразить, что эта трава когда-то была зеленой. Куда бы ты ни ступил, в воздух поднимались десятки маленьких кузнечиков, стрекоча так, словно кто-то чиркал спичкой. Отец засунул руки в карманы, огляделся и покачал головой. Потом он начал косить траву серпом, который принес с собой, и мы заново установили упавшие опознавательные знаки. Большинство могил были отмечены одними камнями: ни имен, ни дат – абсолютно ничего. Отец сказал, чтобы я следил, куда наступаю. Повсюду располагались небольшие захоронения, которые я сначала не замечал или не понимал, что они там есть. Разумеется, я не хотел по ним ходить, но, пока отец не срезал сорняки, не различал, где они, и только потом понял, что наступил на одну, и мне стало тошно. Только в детстве я испытывал такое чувство вины и жалости. Мне до сих пор это снится. Отец всегда говорил: когда кто-то умер, тело – это лишь ворох со старой одеждой, который больше не нужен душе. И вот мы нашли то, что искали. Поиск этой могилы едва не стоил нам жизни, и мы оберегали покой усопших и тщательно следили за тем, куда ставили ноги.

Нам пришлось потрудиться, чтобы все исправить. Стояла жара, кузнечики стрекотали что есть мочи, а ветер трепал сухую траву. Потом мы разбросали повсюду семена бергамота, рудбекии, подсолнуха, фиалок и душистого горошка. Эти семена мы всегда собирали в собственном саду и сохраняли их. Когда мы закончили, отец сел на землю у могилы деда. Он просидел там довольно долго, выдергивая маленькие соломинки, которые все еще торчали из могилы, и обмахиваясь шляпой. Думаю, он сожалел, что уже переделал здесь все дела. Наконец, он поднялся, отряхнулся, и так мы стояли вместе в насквозь пропотевшей затрапезной одежде, с перепачканными руками. И застрекотали первые сверчки, взволнованно стали сновать туда-сюда мухи, пронзительно закричали птицы, как они делают перед тем, как устроиться на ночь. Мой отец склонил голову и начал молиться, поминая отца перед Богом и прося прощения у Бога и у

своего отца. Я сильно скучал по деду и тоже испытывал потребность попросить прощения. Но его молитва была очень долгой.

В том возрасте каждая молитва казалась мне долгой, к тому же я страшно устал. Я пытался держать глаза закрытыми, но через какое-то время мне пришлось оглядеться. И это я помню очень хорошо. Сначала я подумал, что мне показалось, как будто солнце садится на востоке. Я знал, где находился восток, потому что солнце как раз стояло над горизонтом, когда мы пришли на кладбище утром. Потом я осознал, что увидел полную луну, которая начала всходить, по мере того как солнце садилось. Оба светила касались линии горизонта, и между ними разливалось необыкновенное сияние. Казалось, до него можно дотронуться, словно осязаемые световые потоки ходили туда-сюда и их разделяли гигантские упругие ветви света. Я хотел, чтобы отец взглянул на это, но знал: мне придется отвлечь его от молитвы, и я хотел сделать это правильно, поэтому просто взял его за руку и поцеловал ее. А потом сказал: «Посмотри на луну». И он посмотрел. И мы стояли там до тех пор, пока солнце не село, а луна не вошла. Казалось, они так долго дрейфовали на линии горизонта... Видимо, потому что оба светила сияли так ярко, что невозможно было смотреть на них без отрыва. И эта могила, мой отец и я находились между ними, и это казалось мне удивительным, поскольку я не особенно много размышлял о том, что есть горизонт.

Отец сказал: «Никогда бы не подумал, что это место может быть прекрасным. Приятно это сознавать».

Мы выглядели так ужасно, когда наконец добрались домой, что моя мать разрыдалась, увидев нас. Мы оба исхудали, а наша одежда превратилась в лохмотья. Все путешествие заняло чуть меньше месяца, но мы спали в амбарах и сараях, а порой и на голой земле в течение той недели, когда заблудились. По окончании поездки я понял, что это было невероятное приключение, и мы с отцом часто смеялись, вспоминая откровенно жуткие моменты. Один раз какой-то старик даже пустил в нас пулю. Отец, как он тогда говорил, намеревался подобрать пару переросших морковок в огороде, который попался нам по дороге. Обычно он оставлял десятицентовик на веранде в качестве платы за то, что бы мы ни украли, и обычно этого было достаточно. Вот это было зрелище: отец в рубашке с длинным рукавом пробирался через шаткий старый забор с букетом из морковной ботвы, а его уже взял на мушку человек сзади. Мы убежали в кусты, а когда решили, что он уже не преследует нас, сели на землю, и отец очистил морковку от грязи ножом, порезал ее на куски и разложил на тулье

своей шляпы, которую поставил между нами, как стол. А потом он начал воздавать благодарности Господу, о чем никогда не забывал. Он сказал: «Благодарим за пищу, которую послал нам Господь», – а потом мы оба расхохотались, и смеялись до тех пор, пока из глаз не брызнули слезы. Теперь я понимаю, как отчаянно он переживал за то, чтобы добыть нам еду. Он едва не превратился в преступника. Эта морковь была такой большой, старой и твердой, что нам пришлось построгать ее в мелкую соломку. С таким же успехом можно было жевать ветку, да и помыть ее мы не могли.

Только потом я понял, в какую беду попал бы, если бы отца подстрелили, а то и убили. Я остался бы там совершенно один. Мне до сих пор это снится. Думаю, он испытывал нечто вроде стыда, какой возникает, когда понимаешь, какую глупость ты совершил, уже после того, как дело сделано. И все же он твердо вознамерился найти эту могилу.

Однажды, желая подчеркнуть, что мне нужно впитывать знания, пока я молод и учеба дается легко, дед рассказал мне о человеке, с которым познакомился, когда впервые приехал в Канзас. Это был проповедник, обосновавшийся там лишь недавно. Дед говорил: «Этот человек плохо знал древнееврейский. Он мог пятнадцать миль топтаться на лютном морозе, прежде чем добирался до истинного толкования. Нам приходилось хорошенько разогреть его, и только потом он мог объяснить, что у него на уме». Отец смеялся и говорил: «Самое странное – то, что это, возможно, правда». Но тогда я запомнил эту историю, потому что мне казалось, как будто в нашей семье происходит нечто похожее.

Отец отказался от сбора остатков после жатвы и вернулся к обходу верующих, стуча в каждую дверь. Он не очень любил это занятие, ведь, узнав, что он проповедник, люди пытались дать больше, чем могли. Во всяком случае, он так считал. А они не сомневались в том, что он проповедник: вид у него был весьма потрепанный после одиноких скитаний, как он выражался. Некоторым хозяевам мы предлагали помочь с домашними делами в благодарность за еду, но люди просили его всего лишь процитировать Библию или прочитать молитву. Ему было любопытно, как они понимали, что он проповедник, и он часто спрашивал, что его выдало. Он гордился, что руки его загрубели от тяжелой работы, да и лишнего веса у него не было. Меня тоже часто рассекречивали, и я задавался вопросом: по каким признакам? Что ж, мы провели много дней, балансируя на грани катастрофы, а потом много лет смеялись над этим. И потешались мы всегда над самыми страшными моментами. Маму все это раздражало, и она просто говорила: «Даже не рассказывайте мне об этом».

Во многих отношениях она была исключительно заботливой матерью, бедная женщина. В каком-то смысле я был для нее единственным ребенком. Еще до моего рождения она купила себе новую книгу о том, как заботиться о здоровье. Это была большая и дорогая книга, куда более обстоятельная, чем Левит. Руководствуясь опубликованными в книге рекомендациями, мать не разрешала нам думать в течение часа после ужина или читать, когда у нас были холодные ноги. Идея состояла в том, что нельзя не создавать конфликтных потребностей в системе кровообращения. Дед как-то сказал ей, что если не читать с холодными ногами, то в штате Мэн не останется ни одной грамотной души, но она очень серьезно относилась к таким вопросам и только раздражалась. Она говорила: «В штате Мэн ни у кого нет битком набитых закромов, так что, выходит, все мы здесь равны». Когда я приходил домой, она отмывала меня и укладывала в постель, и кормила шесть или семь раз в день, и запрещала думать после каждой еды. Скука была смертная.

Это путешествие я расцениваю как дар, который ниспослал мне Господь. Оглядываясь назад, я понимаю, как молод был мой отец. Ему тогда не могло быть больше сорока пяти или сорока шести лет. Он и в почтенном возрасте оставался здоровым энергичным человеком. Долгие годы мы играли в мяч по вечерам после ужина, до тех пор пока солнце не садилось за горизонт и не становилось слишком темно, чтобы разглядеть мяч. Думаю, он просто ценил то, что у него дома растет ребенок, сын. Что ж, я тоже был здоровым, энергичным стариком до недавних пор.

Ты знаешь, полагаю, что я женился на одной девушке еще в молодости. Мы вместе выросли. Мы поженились, когда я учился на последнем курсе духовной семинарии, а потом приехали сюда, чтобы я подменил отца на то время, пока они с матерью уехали на юг поправлять ее здоровье. Что ж, моя жена умерла при родах, и ребенок ушел вслед за ней. Их звали Луиза и Анжелина. Я видел девочку еще живой и даже подержал ее на руках пару минут, и я благодарю за это Господа. Боутон крестил ее и назвал Анжелиной, потому что я на день уехал в Фавор, а ребенок должен был родиться лишь через шесть недель. И некому было сказать ему, как мы решили ее назвать. Она была бы Ребеккой, но Анжелина – тоже хорошее имя.

В прошлое воскресенье, когда мы ходили на ужин к Боутону, я заметил, как ты смотришь на его руки. Они обезображены артритом, особенно заметно это стало теперь, когда кожа обтянула кости. Ты думаешь, он ужасно стар, но он моложе меня. Он был свидетелем на моей первой

свадьбе и венчал меня с твоей матерью. Сейчас он живет с дочерью Глори. Жена покинула его, и это печально, но для Боутона настоящая отрада – видеть дочь каждый день. Глори заходила на днях занести мне один журнал. Она сказала, быть может, Джек тоже приедет домой. Мне потребовалось не меньше минуты, чтобы вспомнить, кто это. Ты, наверное, не так хорошо помнишь старика Боутона. Время от времени он бывает суров, что вполне понятно, если вспомнить, как плохо он себя чувствует. Жаль, если ты запомнил его именно таким. В лучшие годы он проповедовал блестяще, лучше, чем кто бы то ни было.

Отец всегда читал проповеди по записям, и я тоже прописывал текст полностью, когда готовился к службе. На чердаке стоят коробки, наполненные бумагами, а в последние годы стали копиться ящики и в шкафу. Я никогда не возвращался и не пытался разобраться, зачем их храню, действительно ли я сказал что-то стоящее? Почти весь труд моей жизни пылится в этих коробках, удивительно – если задуматься. Я немного боюсь их. Полагаю, я работал над текстами лишь для того, чтобы мне было чем заняться. Если кто-то приходил ко мне домой и заставлял меня за письмом, то он или она, как правило, уходили. Исключение делалось лишь для самых срочных вопросов. Не знаю, каким образом уединение может служить лекарством от одиночества, но в те дни мне это помогало. И люди уважали меня за то, что я столько часов проводил в кабинете и выписывал столько книг по почте. Если честно, их было не так много, но явно больше, чем я мог себе позволить. Вот куда пошла часть денег, которые я мог бы отложить.

Разумеется, за этим стояло нечто большее. Писать для меня было все равно что молиться, даже когда я писал не проповеди, а это случалось довольно часто. Возникает такое ощущение, как будто ты не один. Сейчас мне кажется, как будто я с тобой, что бы это ни значило, ведь сейчас ты еще маленький, а когда вырастешь, вовсе не обязательно считаешь эти строки интересными. А может, это письмо вообще не попадет к тебе в руки по ряду причин. Что ж, я глубоко сожалею о всех горестях, которые тебе пришлось пережить, и испытываю чувство благодарности в предвкушении всего хорошего, что встретится на твоём пути. Это значит, что я молюсь за тебя. И в этом есть некая интимность. Вот в чем истина.

Твоя мама с уважением относится к тому времени, которое я провожу здесь в кабинете. Она гордится моей библиотекой. Именно она обратила мое внимание на то, сколько коробок я заполнил проповедями и молитвами. Скажем, я писал по пятидесяти проповедей в год в течение

сорока пяти лет, не считая речей для похорон и так далее, а таких тоже было немало. Две тысячи двести пятьдесят. Если в среднем каждая составляет тридцать страниц, то всего я написал шестьдесят семь тысяч пятьсот страниц. Неужели я прав? Наверное, да. К тому же я пишу мелким почерком, как ты теперь знаешь. Если исходить из того, что в одном томе триста страниц, то я написал двести двадцать пять книг – значит, по количеству я сравнялся с Августином Блаженным и Жаном Кальвином. Это невероятно. И почти все я написал с глубочайшей надеждой и твердой верой. Тщательно отсеивая мысли и подбирая слова. Пытаясь сказать истину. И, буду с тобой честен, это было прекрасно. Я благодарен за все эти темные годы, хотя сейчас, когда я оглядываюсь назад, они больше походят на длинную горестную молитву, которую наконец услышали. Твоя мать вошла в церковь в разгар молитвы, чтобы спрятаться от непогоды, как мне показалось тогда, ибо на улице лило как из ведра. Когда она одарила меня своим серьезным взглядом, я смутился, что проповедую перед ней. Как сказал бы Боутон, я ощутил всю бедность моих замечаний.

Иногда мне нравилось спокойствие обычного воскресного дня. Это все равно что стоять в недавно высаженном саду после теплого дождя. Чувствуешь безмолвную и невидимую жизнь. И ей требуется лишь одно: чтобы ты проявлял осторожность и не растоптал ее. Стоял как раз такой тихий день, дождь стучал по крыше, дождь тихо бил в стекла, и все радовались, потому что дождя нам всегда не хватает. В такие мгновения я не особенно переживаю, слушают ли меня люди, ведь я знаю, о чем они думают. И если появляется какая-то незнакомка, это спокойствие может навеять мысли о дремоте и скучных обычаях, и ты боишься, что у нее возникнет именно такое впечатление.

Если бы Ребекка выжила, ей был бы пятьдесят один год, а значит, она была бы старше твоей матери на десять лет. Раньше я часто думал о том, что случилось бы, войди она в эту дверь? Что я не постыдился бы сказать в ее присутствии? Ведь я всегда представлял, как она вернется из того места, где постигаешь знания во всей полноте, и выслушает мои рассуждения как человек, который видел истину воочию и полностью осознает всю глубину моей безграмотности. Такими фантазиями я забавлялся, чтобы не принимать доктрины и противоречия слишком близко к сердцу. В те дни я читал много книг, и в уме постоянно дискутировал то с одним, то с другим автором, но, похоже, мне хватало ума не выносить все это на кафедру. Я верю все же: отчасти это объясняется тем, что я писал проповеди так, как будто Ребекка может войти в эту дверь, и я в некотором роде был готов к приходу столь юной особы, как твоя мать. Хотя она и оказалась моложе,

чем была бы Ребекка, но не сильно отличалась от того образа, который я создал в своих мыслях. И дело было даже не в ее внешности, а в том, что, казалось, она не вписывается во всю эту атмосферу, и в то же время возникало ощущение, что лишь она одна из всех нас имела право там находиться.

Я говорю все это, потому что в ней ощущалась некая серьезность, граничившая со злостью. Как будто она могла сказать: «Из какой бы чудовищной дали и невообразимой реальности я ни явилась, я сделала это ради ваших молитв. Теперь скажите хоть что-то стоящее». Моя проповедь осела пеплом у меня на языке. И дело было даже не в том, что я не работал над ней. Я работал над всеми своими проповедями. Я помню, что крестил двоих детей в тот день. Я чувствовал на себе ее напряженный взгляд. Оба младенца зарыдали, когда я впервые окунул их в воду, я поднял глаза и прочел суровое изумление на ее лице. Я знал, что увижу именно такое выражение, еще до того как взглянул на нее. И мне совершенно искренне захотелось сказать: «Если вы знаете более гуманный способ совершить это таинство, я с благодарностью вас выслушаю». Потом по прошествии всего лишь шести месяцев я крестил ее. И мне хотелось спросить ее: «Что же я сделал? Что за этим стоит?» Этот вопрос часто приходит мне на ум, не потому что я разуверился в том, что сделал нечто значимое, а потому что сколько бы я ни думал, ни читал и ни молился, я чувствовал себя так, словно не сумел постичь эту тайну. Слезы струились по ее лицу – дорогая моя женщина. Я никогда этого не забуду. Если только не забуду все, как это случается со многими стариками. Похоже, я не проживу так долго, чтобы забыть что-то еще, ведь память и так подводит меня. Так что это вполне справедливо, я знаю. Я размышлял о крещении много лет. Мы с Боутоном часто это обсуждали.

Возможно, это слишком обыденно и, следовательно, не заслуживает пристального внимания. Однако для меня данный вопрос имеет большое значение. Мы были очень набожными детьми из набожных семейств, которые жили в довольно набожном городке, и это сильно повлияло на наше поведение. Однажды мы крестили целый помет котят. Это были маленькие грязные котята из сарая, едва стоявшие на ногах, – эдакие беспризорные создания, которые живут своей скромной жизнью, ловят мышей и совершенно не интересуются людьми, кроме тех случаев, когда надо сбежать от них. Но в нежном возрасте, похоже, все животные весьма дружелюбны, и мы всегда радовались, обнаруживая новых котят, из какой бы щели они ни выползали, несмотря на все усилия матери спрятать их от

посторонних глаз. Тем более что они хотели играть не меньше нашего. Одной из девочек пришлось на ум запеленать их в кукольное платье. Платье было только одно, но и этого оказалось более чем достаточно, поскольку котята ни минуты не желали в нем оставаться и их все равно приходилось распеленывать сразу после крещения. Я лично смачивал им лобики и по правилам крестил во имя Отца, Сына и Святого Духа.

Их старая мрачная мать с кривым хвостом застала нас в разгар крещения у реки и принялась утаскивать малюток, волоча их за шкурки, одного за другим. Мы запутались, кто есть кто, но не сомневались, что кое-кто из котят покинул нас, по-прежнему пребывая во мраке язычества, и это нас сильно беспокоило. В конце концов, я самым невинным образом спросил отца, что именно случится с котом, если кто-то решит, скажем, крестить его. Он объяснил, что к таинствам нужно относиться с величайшим почтением. Но ведь он уклонился от ответа на мой вопрос. Мы действительно уважали таинства, но вокруг было столько этих котов! Я все же понял, что он имеет в виду, и больше никого не крестил, до тех пор пока меня не посветили в духовный сан.

Двух или трех котят из того помета забрали домой девочки, и из них выросли вполне достойные домашние коты. Луиза забрала желтого. Он еще обитал у нее, когда мы поженились. Другие продолжали влачить дикую жизнь, нисколько не отличаясь от всех других котов, и никто никогда не смог бы определить, принадлежат ли они к язычникам или к христианам. Она назвала котенка Искорка из-за белого пятна на лобике. В итоге он пропал. Подозреваю, что его поймали, когда он воровал кроликов, – за ним водился такой грех. Хотя он и был крещеным, перевоспитать его не удалось. Один мальчик говорил, что ей надо было назвать его Брызгалка. Он настаивал на необходимости полного погружения при крещении. В общем, этим котяткам крупно повезло, что я его убеждения не разделял. Он утверждал, что нашими методами ничего не добьешься, и мы не могли его разубедить. Должно быть, наша Соупи – дальняя родственница того кота.

Я до сих пор помню ощущение этих маленьких теплых лобиков под ладонью. Любому приходилось гладить кота, но прикоснуться к нему так, исключительно с намерением благословить, – совершенно другое дело. Это остается в памяти. Долгие годы мы можем недоумевать, что же сделали с ними с точки зрения космического разума. И меня до сих пор волнует этот вопрос. Благословение создает некую особую реальность, поэтому я положительно отношусь к крещению. Оно не совершенствует священность, но венчает ее, и в этом есть какая-то сила. Я чувствовал, как она проходит через меня, если можно так выразиться. Это ощущение, как

будто ты хорошо знаешь это существо, то есть на самом деле ощущаешь его загадочную жизнь и собственную загадочную жизнь в одно и то же время. Я не собираюсь склонять тебя к церковной службе, но в ней есть свои преимущества, о которых ты можешь не знать, если я не укажу тебе. Необязательно быть священником, чтобы даровать благословение. Просто, служа Богу, ты намного чаще с этим сталкиваешься. Именно этого ждут от тебя люди. Не знаю почему в литературе так мало говорится о служении Господу с этой точки зрения.

Людвиг Фейербах рассуждает о крещении удивительным образом, я даже подчеркнул эти слова. Он говорит: «Вода – самая чистая и прозрачная из всех жидкостей; благодаря этим естественным свойствам она олицетворяет безупречную природу Божественного духа. Если говорить коротко, вода сама по себе несет некий смысл; благодаря природным качествам она служит избранным и священным каналом связи со Святым Духом. Таким образом, в основе крещения лежит прекрасная глубокая природная значимость». Фейербах – известный атеист, но воспеваает прелести религии, как никто другой, и к тому же любит мир. Разумеется, он считает, что религия просто мешает существованию чистой и неприкрытой радости. Это его единственная ошибка, причем довольно существенная. Зато он великолепно высказывается о радости и ее отражении в религии.

Боутон не слишком высокого мнения о нем, потому что он разрушил веру многих людей, но я считаю, вина лежит не столько на Фейербахе, сколько на этих людях. У меня такое впечатление, что некоторые только и ждут удобной возможности распрощаться с верой. И эта мода держится на протяжении последних лет ста или около того. Мой брат Эдвард дал мне книгу «Сущность христианства», надеясь избавить меня от слепой набожности, как я мог догадаться в то время. Мне пришлось читать ее втайне, или так мне казалось. Я положил ее в жестяную коробку из-под печенья и спрятал в дупло дерева. И, уж конечно, ты представляешь: один тот факт, что читать ее пришлось при таких обстоятельствах, возбуждал мой интерес. К тому же я благоговел перед Эдвардом, который учился в университете в Германии.

Я понял, что еще не упомянул Эдварда, хотя он играл важнейшую роль в моей жизни. И играет до сих пор, упокой Господь его душу. Мне кажется, в некоторых аспектах он оставался для меня словно чужим человеком, зато в других я знал его вдоль и поперек. Он-то думал, что окажет мне услугу, если выбьет из меня дух Среднего Запада. Именно

такую услугу оказала ему Европа. Но вот я перед тобой, и за плечами у меня вся жизнь, которую я прожил именно так, вопреки его предостережениям, оставаясь при этом довольным собой. Однако я знаю, что до сих пор болезненно воспринимаю любые разговоры об ограниченности.

Эдвард учился в Гёттингене. Он был удивительным человеком. Брат старше меня почти на десять лет, так что в детстве мы не так много общались. Нас разделяли еще две сестры и брат, которые угасли от дифтерии меньше чем за два месяца. Он знал их, а я, разумеется, нет, что тоже отдаляло нас друг от друга. Хотя эта тема редко поднималась, я всегда знал, что всех троих объединяло счастливое дружное детство, которое они хорошо помнили, а я даже представить себе не мог. Как бы там ни было, Эдвард уехал из дома в шестнадцать и поступил в колледж. Он окончил его в девятнадцать лет, получив ученую степень по древним языкам, и отправился напрямик в Европу. Никто из нас долгие годы его не видел. Да и писем он присылал немного.

Потом он вернулся домой с палочкой и огромными усами. Герр доктор. Наверное, ему было двадцать семь или двадцать восемь лет. Он выпустил тонкую книжку на немецком – монографию, посвященную каким-то трудам Фейербаха. Он был невероятно умен, и мой отец тоже в некотором роде благоговел перед ним, как и раньше, когда Эдвард был еще маленьким мальчиком. Родители рассказывали мне: он читал все, что попадалось под руку, выучил наизусть целый том Лонгфелло, копировал карты Европы и Азии и знал все реки и города. Разумеется, они считали, что воспитывают маленького Самуила, как и все окружающие, поэтому снабжали его книгами, увеличительным стеклом и всем необходимым, что приходило на ум или попадалось на глаз. Мать иногда вслух сожалела о том, что они не требовали от него помощи по дому и, разумеется, не повторила этой ошибки со мной. Такие чудесные дети, как Эдвард, – настоящая редкость, поэтому все верили: он станет отличным проповедником. И паства собрала деньги, чтобы ему хватило на обучение в колледже, а потом уже в университете в Германии. А он вернулся атеистом. Во всяком случае, именно так он всегда себя называл.

Он устроился на работу в государственном колледже Лоренса и преподавал там немецкую литературу и философию, пока не умер. Он женился на немке из Индианополиса, и у них родились шесть маленьких светловолосых детей. Сейчас все они уже люди среднего возраста. Эти годы он жил в нескольких сотнях миль от меня, и мы почти не виделись. Он отправлял пожертвования для церкви в знак благодарности за то, что

когда-то паства помогла ему. Каждый год при его жизни нам приходил чек, датированный первым января. Он был хорошим человеком.

Они с отцом ссорились, когда он вернулся. Однажды за ужином, когда отец в первый раз попросил его вознести хвалу Господу, Эдвард откашлялся и ответил:

– Боюсь, что, пока я в здравом уме, я не сделаю этого, сэр.

И отец страшно побледнел. Я знал, что мне давали читать не все письма Эдварда и что отец с матерью вели по этому поводу серьезные разговоры. Теперь их опасения получили подтверждение. Отец сказал:

– Ты жил под этой крышей. Ты знаешь традиции своей семьи. Ты должен их уважать.

И Эдвард ответил, поступив не самым лучшим образом:

– Когда я был ребенком, то и мыслил как ребенок. Теперь я взрослый человек и отказался от детских глупостей.

Отец встал из-за стола, мать осталась на стуле и залилась слезами, а Эдвард передал мне картошку. Я понятия не имел, какого поведения ждали от меня, поэтому положил себе пару картофелин. Эдвард подал мне подливку. Какое-то время мы поглощали нашу недозволенную пищу, а потом вышли из дома, и я проводил Эдварда в гостиницу.

По дороге он сказал мне:

– Джон, пора бы тебе узнать то, что ты все равно когда-то узнаешь. Этот городок – настоящее болото, и ты должен это осознавать. Покинув эти места, я словно вышел из транса.

Полагаю, соседи видели, как мы вышли из дома как раз во время ужина в тот первый день. Эдвард шел, согнув одну руку за спиной, и слегка сутулился, чтобы оправдать наличие палки, с таким видом, словно был погружен в исключительно серьезную и непостижимую мыслительную деятельность, происходившую, вероятнее всего, на иностранном языке. (Подумать только!) Если бы они его увидели, то тут же убедились бы, что их подозрения были не напрасны. И еще они узнали бы, что мама неистовствует и рыдает на кухне, а отец – на чердаке или в сарае – в каком-нибудь тихом укромном месте стоит на коленях и вопрошает Господа, чего от него ждут. И вот он я – тащусь за Эдвардом, еще одна печаль для родителей, как они наверняка подозревали в тот самый момент.

Помимо книг, которые я упомянул, Эдвард подарил мне маленькую картинку с изображением рынка, которая висит у лестницы. Надо не забыть сказать твоей маме, что она принадлежит мне, а не приходу. Сомневаюсь, что картина чего-то стоит, но, быть может, она захочет ее забрать.

Я собираюсь отложить эту работу Фейербаха вместе с книгами, которые попрошу твою маму обязательно передать тебе. Надеюсь, когда-то ты их прочитаешь. На мой взгляд, в этой работе нет ничего крамольного. В первый раз я читал ее под одеялом или на берегу ручья, потому что мать

запретила мне общаться с Эдвардом, и я знал: запрет распространяется и на чтение атеистической книги, которую он мне дал. Она сказала: «Если бы ты хоть раз заговорил с отцом подобным образом, то свел бы его в могилу!» На самом деле я всегда думал о том, как защитить отца. И я верю, что мне это удалось.

На полях остались мои пометки – я надеюсь, они будут тебе полезны.

Упоминание о Фейербахе и радости навело меня на мысли об одной ситуации, которую я наблюдал как-то утром несколько лет назад, когда шел к церкви. Примерно на полдома впереди от меня прогуливалась молодая пара. Солнце ярко сияло после сильного дождя, а деревья стояли мокрые и блестели. Повинуясь какому-то импульсу – видимо, в порыве энтузиазма, – парень подпрыгнул, ухватился за ветку, и на обоих обрушился холодный душ из сверкающих капель. Они расхохотались и пустились бежать, девушка отряхивала воду с волос и платья, как будто испытывала отвращение, но на самом деле это было не так. Это было прекрасное зрелище, словно из какого-то мифа. Не знаю, почему я сейчас вспомнил об этом, быть может, потому, что в такие моменты легко поверить, как будто вода прежде всего предназначалась для благословения людей, и только потом – для выращивания овощей и стирки. Жаль, я не обращал на это внимания раньше. Мой список сожалений может показаться необычным, но кто знает наверняка, что необычно? Это удивительная планета. Она заслуживает больше внимания, чем ты можешь ей уделить.

Когда я пишу это письмо, то замечаю, что мне стоит больших усилий не употреблять определенные слова чаще, чем требуется. Я размышляю о слове «просто». Я почти жалею, что не написал: солнце просто *сияло*, дерево просто *блестело*, вода просто *полилась*, а девушка просто *засмеялась*. Когда так говоришь, акцентируется следующее слово, да и тон голоса меняется. Люди говорят так, когда хотят привлечь внимание к объекту, существующему за пределами собственных границ, так сказать, когда имеется в виду некая чистота или неумеренность, что-то обычное по своей сути, но исключительное по степени. Именно такие ощущения возникают у меня в настоящий момент. Слово «просто» обозначает нечто настоящее, не признаваемое обычным языком. Это сродни немецкой приставке *ge-*. Печально, что я лишен возможности пользоваться этим выразительным средством. Это наполовину лишает смысла весь мой рассказ.

Еще я склонен повсюду вставлять слово «старый», которое, на мой

взгляд, в меньшей степени относится к возрасту, чем к дружеским отношениям. Оно позволяет выделить объект, в отношении которого существует привычная скромная привязанность. Иногда оно предполагает неvezучесть или уязвимость. Я говорю «старый Боутон», еще я говорю «этот ветхий старый город», когда хочу сказать, что они дороги моему сердцу.

Я пишу не так, как говорю. Боюсь, ты подумаешь, что лучше я и не умею. И я не пишу так, как пишу для кафедры, во всяком случае, стараюсь сдерживаться. В таких обстоятельствах это было бы глупо. Я правда стараюсь писать так, как думаю. Но, разумеется, все меняется, когда я облакаю мысли в слова. И чем лучше слова отражают мои мысли, тем более проповедническим кажется мое послание – наверное, это неизбежно. Тем не менее я буду всячески избегать подобной интонации.

Я отправился к Боутону, чтобы взглянуть, чем он занят, и застал его в ужасном расположении духа. Завтра должен был наступить его семьдесят четвертый день рождения. Он сказал:

– Правда в том, что я просто устал сидеть здесь в одиночестве. Вот в чем правда.

Глори вертится вокруг и делает все возможное, чтобы его порадовать, но и у него выдаются плохие дни. Он сказал:

– Когда мы были молоды, брак что-то *значил*. *Семья* что-то значила. Все было не так, как сейчас.

Глори закатила глаза, услышав это, и заявила:

– Мы довольно давно не получали от Джека ни весточки и немного нервничаем.

Он возмутился:

– Глори, почему ты всегда так поступаешь? Почему ты говоришь «мы», когда имеешь в виду *меня*?

Она ответила:

– Папа, лично я думаю, что Джек не появится через минуту на пороге.

Он ответил:

– Что ж, беспокоиться – это естественно, и я не собираюсь просить за это прощения.

Она сказала:

– Полагаю, вымещать свое беспокойство на мне – это тоже естественно, только я не могу делать вид, как будто мне это нравится.

И так далее. Так что я вернулся домой.

Боутон всегда был добродушным человеком, но переживания утомляют его, и периодически у него вырываются слова, которые он говорить не должен. В такие мгновения он сам не свой.

Мне жаль, что ты одинок. Ты серьезный ребенок и не особенно часто хихикаешь или секретничаешь. Ты стесняешься других детей. Я вижу, как ты стоишь на качелях, наблюдая за ровесниками, которые играют на дороге. Один из тех, что побольше, пытается объездить старый разбитый велосипед. Я думаю, ты знаешь, кто они. Ты не разговариваешь с ними. Если тебе покажется, что тебя заметили, ты, наверное, уйдешь в дом. Ты застенчив, как твоя мать. Я знаю, как тяжела для нее жизнь, которую я навязал ей, и, полагаю, ты тоже это чувствуешь. Она непохожа на типичную жену проповедника. Она сама так говорит. Но она никогда не возражает. Наверное, Мария Магдалина иногда готовила овощную запеканку или ее древний аналог. А может, и чечевичную похлебку.

Я говорю о твоей матери с величайшим уважением, когда утверждаю, что она всегда казалась мне именно тем человеком, с которым Господь мог бы пожелать провести часть Его земной жизни. Как странно произносить эти слова по прошествии веков... Бывает некая заслуженная невинность, я считаю, которую надлежит почитать так же, как невинность детскую. У меня часто возникало желание прочитать проповедь на эту тему. И я читал, полагаясь на свои знания. Когда Господь говорит: «Будьте как дети», – мне кажется, Он имеет в виду, что нужно избавиться от любых атавизмов в виде самодовольства, претенциозности и банальности. «Наг я вышел я из чрева матери моей»^[5], и так далее. Думаю, я прочитаю об этом проповедь во время Рождественского поста. Надо написать себе напоминание. Если я и сам не помню, чтобы раньше говорил об этом, значит, и никто другой не вспомнит. Я могу представить, как Иисус подружился с моим дедом и даже готовил для него завтрак и беседовал, старик и в самом деле вспоминал пару таких случаев. О себе я не могу сказать того же. Сомневаюсь, что у меня хватило бы на это сил. Время от времени я размышлял об этом и, по правде говоря, не очень понимаю, как с этим быть.

Мне приносила удовольствие мысль, как будто твоя мать ощущает гармонию с этим миром, пусть даже мимолетную. Спокойствие, я бы даже сказал, ибо верю, что у нее связь с миром гораздо глубже, чем у меня. Я искренне жалею, что не знаю способа избавить тебя от любого знакомства с той самой бедностью, которую Сам Господь благословил словом и собственным примером. Однажды, когда я высказал свои опасения вслух, твоя мать сказала: «Думаешь, я не знаю, каково быть бедной? Я жила так

всю жизнь». Но мне все равно стыдно думать о том, что я оставляю вас без гроша в этом мире. О Боже, думаю я, избавь их от этого дара...

Мне в некотором роде удалось испытать на себе благословенную бедность. Мой дед никогда не оставлял себе ни одной вещи, которую можно было отдать, и не позволял делать это нам, как говорила моя мать. Он готов был стащить с веревки постельное белье ради других. Мать говорила, он хуже любого вора и хуже пожара. Еще она говорила, что если решит прогуляться по любому городу на Среднем Западе, то увидит на улице пару штанов, на которые лично ставила заплатки. Я верю, что он был в некотором роде святым. Когда кто-то в его присутствии отмечал, что он потерял глаз на Гражданской войне, дед говорил: «Я предпочитаю думать о том, что один глаз я все-таки сохранил». Мать же говорила, ей греет душу осознание того, что ему хоть что-то удалось сохранить. Однажды он рассказал мне, что его ранили в битве при Уилсонс-Крик в тот день, когда погиб генерал Лайон. «Вот *это*, – говорил он, – была *потеря*».

Когда он покинул нас, все мы с горечью ощутили его отсутствие. Но он в самом деле доставлял много хлопот. В нем чувствовалась какая-то детская невинность. У него ни на что не хватало терпения, кроме как на простейшие интерпретации важнейших заповедей, «Просящему у тебя дай», в частности.

Жаль, ты не знаком с моим дедом. Однажды я услышал, как один человек сказал: его единственный глаз имеет силу десяти. Если говорить на простом языке, мне кажется, что взгляд, даже самый пристальный, несколько размывается, когда на тебя смотрят два глаза. Он же мог создать такое ощущение, как будто ткнул палкой, всего лишь взглянув на меня. Дед совершенно не желал мне зла. Он всего лишь пылал страстью к привычным убеждениям и не мог справиться с тем, что ему приходилось проявлять терпение из-за вынужденного покоя, и старения тела, и забывчивости, которая проникла повсюду. Он считал, что мы все должны жить без оглядки. Я не утверждаю, что он заблуждался. Это все равно что спорить с Иоанном Крестителем.

Он и в самом деле готов был отдать что угодно. Отец принимался искать пилу или коробку гвоздей, а потом выяснялось, что их уже нет. Мама хранила деньги в корсаже платья в носовом платке. Какое-то время она продавала кур и яйца, потому что у нас было совсем туго с деньгами. (Тогда к этому дому прилагался участок земли, и сарай, и пастбище, и курятник, и перелесок, и деревянный сарай, и маленький милый фруктовый садик, и беседка, увитая виноградом. С годами церкви пришлось все это

продать. Раньше я только и ждал, что следующим уйдет с молотка – подвал или крыша?) Как бы там ни было, наступили тяжелые времена, и ей приходилось как-то уживаться со стариком, который готов был отдать одеяло из собственной постели. Пару раз он именно так и поступил, и моей матери пришлось потрудиться, чтобы найти замену. Был период, когда она заставляла меня постоянно носить одежду, которую я надевал в церковь, чтобы он до нее не добрался. И она старалась непрерывно следить за мной, потому что была уверена: я сбегу и отправлюсь играть в бейсбол именно в этой одежде. Разумеется, именно так я и поступал.

Я помню, как однажды он вошел в кухню, когда она гладила, и сказал:

– Дочь моя, тут люди пришли к нам за помощью.

– Что ж, – ответила она. – Надеюсь, они могут подождать минуту. Надеюсь, они дождутся, пока этот уют остынет.

Через пару минут она поставила уют на печь, отправилась в кладовую и вернулась с жестяной банкой соды. Помешав содержимое банки вилкой, она выудила четвертак. Она делала это снова и снова, до тех пор, пока на столе не оказались четвертак и две десятицентовые монеты. Мать взяла их, обтерла соду уголком фартука и протянула ему. На сорок пять центов в то время можно было купить не одну дюжину яиц – она не отличалась жадностью. Дед забрал деньги, хотя было ясно: он знал, что у нее есть еще. (Однажды в кладовой он обнаружил деньги в пустой жестяной банке, когда случайно схватил ее и она загремела. Поэтому он повадился ходить в кладовую и проверять, что там еще гремит. А мать приоровилась мыть деньги и заталкивать их в сало или закапывать в сахар. Но время от времени какая-нибудь монета появлялась в самом неподходящем месте, например, в сахарнице или тарелке с кашей.) Несомненно, мать хотела заставить деда поверить, как будто все ее деньги лежат в кладовой, раз уж она что-то там прятала.

Но одурачить его было невозможно. Быть может, он и был немного неуравновешен в то время, зато видел насквозь все и всех. Кроме пьяниц и тех-у-кого-всегда-все-плохо, как говорила мать. Но и это было неправдой. Он просто говорил: «Не суди», – а это уже Священное Писание, так что тут вряд ли поспоришь.

Я должен отметить, что моя мать очень гордилась тем, как заботится о своей семье. Тогда это был нелегкий труд, тем более для нее, с ее болями и страданиями. В кладовой она держала бутылку виски от ревматизма. «Это единственное, что мне не приходится прятать», – говорила она. Зато дед мог без спроса забрать у нее банку маринованной свеклы. В тот день он так и стоял, держа три монеты в загрубевшей мумифицированной руке, и

смотрел на нее своим ужасным глазом, а она скрестила руки прямо над носовым платком, где лежали деньги – он это точно знал, – и тоже буравила его взглядом, до тех пор пока он не сказал: «Что ж, благослови и сохрани тебя Бог» – и вышел.

Моя мать сказала: «Я переглядела его! Я переглядела его!» В жизни не видел, чтобы она так удивлялась. Как я уже говорил, она глубоко его уважала. Он всегда твердил ей, что не стоит переживать из-за его чрезмерной щедрости, потому что Господь о нас позаботится. А мать отвечала, что если бы Он не был так занят сохранением наших рубашек и носков, то успевал бы хоть иногда послать нам дар в виде торта или хотя бы пирога. И все же она, как и все мы, тосковала, когда дед пропал.

Раздумывая над написанным, я прихожу к выводу, что изобразил деда в старости эксцентричным чудачком, которого мы терпели, и уважали, и любили, а он любил нас. Так и было. Но я верю: мы знали и о том, что его странности были проявлением противоречивой страсти, и он гневался, на нас – больше всего, а старческая дрожь в какой-то степени была отголоском подавленного горя. И я верю, что отец со своей стороны тоже испытывал гнев из-за обвинений в своей адрес, которые читал в вечном беспокойстве отца и его беспрестанном мародерстве. В духе христианского всепрощения, свойственного представителям духовенства и людям, которые приходятся друг другу отцом и сыном, они похоронили свои разногласия. Я должен отметить, однако, что отец с дедом зарыли их не очень глубоко, как поступают многие, когда решают слегка уменьшить пламя, а не совсем затушить огонь.

Они обращались друг к другу особенным образом, когда былая обида готова была разгореться вновь.

– Я как-то обидел вас, ваше преподобие? – спрашивал отец.

И его отец отвечал:

– Нет, ваше преподобие, вы никоим образом меня не обидели. Ни в коем случае.

А мать говорила:

– О нет, вы двое, даже не начинайте.

Моя мама очень гордилась своими цыплятами, особенно после того, как дед ушел и ее выводок начал расти. Благодаря тщательному отбору колония кур процветала и несла яйца с такой скоростью, что мать не переставала удивляться. Но однажды налетел ураган и снес крышу курятника, и куры стали вылетать оттуда, наверное, с порывом ветра, да и

вообще вели себя, как заправские куры. Мы с мамой видели, как это произошло: предчувствуя, что будет дождь, она позвала меня помочь снять белье с веревки.

Это была катастрофа. Когда крыша ударилась о забор из натянутой на колышки проволочной сетки, который по прочности не сильно превосходил паутину, одни цыплята ринулись на луг, другие – побежали к дороге, а третьи – просто побежали, как любые нормальные цыплята. Потом оживились соседские собаки, да и наши тоже, и вот тогда хлынул дождь. Мы не могли вернуть даже своих собак. Их неистовое веселье отдавало стыдом, если мне не изменяет память, но в целом они не обращали на нас внимания. Такой момент выпадает раз в жизни, и они не собирались его упускать.

Мама сказала: «Не хочу на это смотреть». И я последовал за ней на кухню, и мы сидели там, слушая звуки преисподней, и ветер, и дождь. Потом мама воскликнула: «Белье!» Она совсем забыла про него. Она сказала: «Эти простыни, должно быть, так отяжелели, что теперь волочатся по грязи, если только ветер не сорвал их с веревок». Это означало, что весь день она трудилась зря, не говоря уже о беде с курами и цыплятами. Мать закрыла один глаз и, посмотрев на меня, сказала: «Я знаю, в каком-то смысле это дар Божий». Мы и правда привыкли имитировать манеру разговора старика, когда его не было в комнате. И все же я удивился, что она прямо пошутила на счет дедушки теперь, когда его так долго не было. Ей действительно нравилось, когда я смеялся.

Обнаружив деда в Маунт-Плезанте после окончания войны, отец пришел в ужас от его ран. На самом деле он просто онемел. И первые слова, с которыми дед обратился к своему сыну, звучали так: «Уверен, это дар Божий». Так он отзывался обо всех более или менее драматичных событиях, происходивших в его жизни. Я помню, что у него были вывихнуты оба запястья и сломано ребро, не меньше. Однажды он сказал мне, что быть благословленным – значит быть окровавленным, и в английском это действительно родственные слова, если обратиться к этимологии, а вот в греческом или иврите – нет. Так что какое бы понимание ни основывалось на этой этимологии, Слово Божие его не подтверждало. Игра с толкованиями была не в его стиле. Он делал это для того, чтобы убедить самого себя, – полагаю, как делают многие из нас.

В любом случае это понятие, похоже, имело для него большое значение. Он вечно пытался помочь кому-нибудь принять теленка у коровы или срубить дерево, требовалась его помощь или нет. Жалел он только несчастных, а на себя эмоций уже не оставалось, какие бы

страдания он ни испытывал. Так продолжалось до тех пор, пока не начали умирать его друзья. Все они ушли один за другим за два года. И тогда он почувствовал страшное одиночество, в этом я не сомневаюсь. Думаю, во многом именно из-за этого он сбежал в Канзас. Из-за этого, а еще из-за пожара в негритянской церкви. Пожар был небольшой: кто-то соорудил кучу из засохшего кустарника у задней стены и чиркнул спичкой, а кто-то еще увидел дым и затушил пламя лопатой. (Негритянская церковь раньше находилась там, где сейчас стоят стойки для продажи газированной воды, хотя, я слышал, дела у них не очень. Церковь продала здание пару лет назад, и все, кто остался из паствы, переехали в Чикаго. Тогда паства состояла из двух или трех семей. Священник заходил к нам с мешком растений, которые выкопал у крыльца, в основном лилии. Он подумал, что они пригодятся мне, и они действительно до сих пор растут у входа в церковь, не мешало бы их проредить. Нужно рассказать дьяконам, откуда взялись эти цветы, чтобы они осознали их ценность и спасли, когда здание снесут. Я сам не очень хорошо знал пастора негритянской церкви, но он говорил, что его отец знал моего дела. Еще он говорил, что им жаль уезжать, ибо этот город когда-то очень много для них значил.)

Ты подружился с одним пареньком из школы – веснушчатым маленьким лютеранином по имени Тобиас. Милый ребенок. Похоже, ты половину свободного времени проводишь у него в гостях. Мы думаем, что для тебя это очень хорошо, но иногда ужасно по тебе скучаем. Сегодня вечером ты идешь на импровизированный пикник у него на заднем дворе. Это недалеко – на другой стороне улицы, всего через пару домов от нас. Перспектива отужинать без тебя навевает тоску.

Вы с Тобиасом утомленные пришли на рассвете и расстелили спальные мешки на полу у тебя в комнате, а потом спали до обеда. (Ты слышал, как кто-то рычал в кустах. Неудивительно – у Т. есть братья.) Твоя мама заснула в коридоре с книжкой на коленях. Я сделал тебе запеченные бутерброды с сыром, которые немного передержал в духовке. И принялся рассказывать одну историю, которая тебе очень понравилась, повествуя о том, как моя бедная старая мать засыпала в кресле-качалке у плиты на кухне, пока наш ужин коптел и скворчал, словно запрещенное жертвоприношение, на огне. И ты съел бутерброды, быть может, с чуть большим удовольствием, несмотря на то что они подгорели. Еще я дал тебе шоколадный кекс с белой сахарной глазурью. Я покупаю такие для твоей мамы, потому что она их любит, но сама себе не покупает. Сомневаюсь,

что ей удалось поспать сегодня ночью. А вот я сам себя удивил: я крепко спал, а проснулся, когда досмотрел совершенно безобидный сон о ничем не примечательной беседе с людьми, которых я не знал. И я так радовался, застав тебя дома.

Я размышлял о курятнике. Он стоял прямо на той стороне двора, где сейчас находится дом Мюллеров. Мы с Боутоном часто сидели на его крыше, озирая соседские сады и поля. А еще мы брали с собой бутерброды и ужинали прямо там. У меня были ходули, которые Эдвард смастерил для себя много лет назад. Они были такие высокие, что мне приходилось забираться на них с веранды. Боутон (тогда его звали Бобби) попросил отца сделать ему такие же, так что мы несколько лет «жили» на них летом. Нужно было ходить по тропинкам или по утопанной земле, но мы наловчились и спокойно прогуливались на ходулях по всему двору, как будто это совершенно обычное дело. Мы даже могли сесть на ветку дерева. Иногда нас беспокоили осы или москиты. Пару раз мы падали, но в целом нам все очень нравилось. Как гиганты возвышаясь над землей, мы воображали себя могущественными отважными воинами. Нам в голову не приходило, что курятник вот так возьмет и развалится. Покрытая потертым черным рубероидом крыша всегда была теплой, даже когда день выдавался прохладный. Иногда мы лежали прямо на ней, подставляя лица ветру, лежали и разговаривали. Я помню, Боутон уже тогда переживал за свое призвание. Он боялся, что озарение не снизойдет на него и ему придется избрать иной жизненный путь, а какой – он придумать не мог. Мы рассматривали возможности, о которых нам было известно. Оказалось, их не так много.

Боутон рос медленно. А потом, когда детство пролетело, он целых сорок лет был выше меня. Теперь же он так сгорбился, что я даже не знаю, какой у него рост и вес. Он говорит, его позвоночник стал как костяшки пальцев. Он говорит, что превратился в кучу суставов, ни один из которых не работает. Глядя на него, и не догадаешься, как он выглядел раньше. Он всегда мастерски захватывал базы при игре в бейсбол со времен учебы в начальной школе до семинарии.

На днях я напомнил ему, как он сказал мне, лежа на крыше и наблюдая за облаками:

– Как думаешь, что бы ты сделал, если бы увидел ангела? Я тебе вот что скажу: я бы так испугался, что убежал бы!

На этих словах старый Боутон рассмеялся и сказал:

– Что ж, у меня могло бы возникнуть такое *желание*. – А потом

добавил: – Совсем скоро я это проверю.

Я всегда был выше и крупнее других. У всех моих родственников такая конституция. В детстве люди считали, что я старше, чем на самом деле, и требовали от меня больше – больше здравого смысла, чем я мог продемонстрировать в определенный момент. Я научился притворяться, что понимаю больше, чем на самом деле, – качество, которое пригодились мне на протяжении всей жизни. Я говорю это потому, что хочу, чтобы ты понял: меня совсем нельзя назвать святым. Моя жизнь не сравнима с жизнью моего деда. Я пользуюсь гораздо большим уважением, чем заслуживаю. В большинстве случаев, похоже, это не приносит никакого вреда. Люди хотят благоговеть перед пастором, и я не собираюсь им в этом мешать. Но я приобрел репутацию человека мудрого, из-за того что заказывал больше книг, чем успевал прочитать, и читал больше, чем узнавал, если не считать того факта, что книги пишут весьма занудливые джентльмены. Эта мысль не нова, но правда в том, что полностью осознать ее можно лишь на собственном опыте.

Разумеется, я благодарю Господа за все это и за тот странный период, занявший огромную часть моей жизни, когда я сидел над книгами от одиночества и предпочитал даже самую плохую компанию полному уединению. Ты можешь полюбить плохую книгу за ее горечь, или помпезность, или желчь, если ты страшно изголодался по всему человеческому, – надеюсь, ты никогда не испытаешь это чувство. «Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко»^[6]. Удовольствия можно найти там, где никогда не додумаешься их искать. С одной стороны, кажется, это отцовская мудрость, но еще и Божия истина, и нечто, что я усвоил на собственном опыте.

Довольно часто, когда кто-то видит, что у меня в кабинете поздно вечером долго горит свет, это означает лишь одно: я заснул прямо на стуле. За мной закрепилась слава человека, которому паства приписывает самые добрые качества, и я предпочитаю не разочаровывать их. Отчасти по той причине, что в истине кроется некий пафос, который привел бы к рождению сочувствия в самых невыносимых формах. Что ж, всем им известно о том, как я жил, о каждом значительном событии, и они всегда проявляли тактичность. Много времени я посвятил утешению страждущих, но никогда не мог смириться с мыслью, что кто-то может попытаться успокоить меня, кроме старого Боутона. Ему всегда хватало ума не разглагольствовать. В те дни он был для меня отличным другом, настоящей опорой. Жаль, ты не представляешь, каким замечательным

человеком он был в расцвете сил. Он читал потрясающие проповеди, но никогда не записывал их. Да и заметки не сохранял. Так что все утрачено. Я помню лишь пару фраз. Каждый день я думаю о том, что хотел бы пройтись по своим старым проповедям и найти одно-два предложения, которые стоит показать тебе. Но их так много, и я боюсь прежде всего того, что большинство покажутся мне глупыми или скучными. Возможно, лучше сжечь их, но это расстроит твою мать, которая гораздо более высокого мнения о них, чем я. Главным образом, из-за количества, полагаю, поскольку она их не читала. Возможно, ты помнишь, что на чердак ведет некое подобие лестницы и там ужасно жарко в те дни, когда не ужасно холодно.

У меня бы вся жизнь ушла на то, чтобы самостоятельно переместить эти большие коробки вниз. Это унижительно – написать так же много, как Августин, а потом искать способ избавиться от трудов. В этих проповедях нет ни одного слова, которое я не воспринимал бы серьезно, когда писал их. Если бы у меня было время, я мог бы прочитать и осмыслить свой путь на протяжении пятидесяти лет моей сокровенной жизни. Какая страшная мысль! Если их сожгу не я, тогда это сделает кто-то другой, а это еще большее унижение. Привычка писать слишком глубоко укоренилась во мне, как ты поймешь из этого бесконечного послания, которое сейчас держишь в руках, если только не потерял и не сжег его.

Полагаю, это естественно – размышлять об этих старых коробках с проповедями наверху. В конце концов, это летопись моей жизни, прошедшей в некотором роде в ожидании Страшного суда, – так неужели я не должен испытывать любопытство? И вот я, пастор людских душ – сотен и сотен душ за многие годы, – надеюсь, что сумел обратиться и к ним, а не только к себе, как мне порой кажется, когда я оглядываюсь назад. Я до сих пор просыпаюсь ночью с мыслями «*Вот* что нужно было сказать!» или «*Вот* что он имел в виду!», когда вспоминаю беседы многолетней давности с разными людьми. Некоторые из них уже отошли в мир иной, благополучно проигнорировав мои тревоги о том, как решить их вопрос. А потом я недоумеваю, почему проявлял такую невнимательность. Если это можно расценивать как вопрос.

Одной проповеди там не хватает, той самой, которую я сжег ночью накануне очередного дня, когда собирался проповедовать. Сейчас не часто можно услышать об «испанке», но это было что-то ужасное. Эпидемия разразилась как раз во время Первой мировой войны, когда мы только ввязались в нее. «Испанка» убивала тысячи солдат – здоровых мужчин в

расцвете лет, – а потом набросилась на всех остальных. Воистину, она была подобна войне. Одни похороны за другими прямо здесь, в Айове. Мы потеряли так много молодых людей. И нам еще повезло. Люди приходили в церковь в масках, если приходили вообще. Садись как можно дальше друг от друга. Ходили слухи, что вирус распространили немцы при помощи какого-то секретного оружия, но, думаю, люди просто хотели в это верить. Это убеждение спасало их от необходимости размышлять над тем, что еще может означать эпидемия.

Родители этих юных солдат приходили ко мне и спрашивали, как Господь допустил их гибель. Мне очень хотелось поинтересоваться, какое деяние Господа может дать нам понять, что он чего-то *не* допустил. И все же я успокаивал их, убеждая, будто их молодых отпрысков уберегли от чего-то еще, о чем мы не знаем. По мнению многих, я имел в виду, что их уберегли от окопов и горчичного газа, но в действительности я подразумевал, что Господь уберег их от самого акта убийства. Это походило на библейскую чуму. Я тогда думал о Синахерибе.

Странная это была болезнь: я видел больных в Форт-Райли. Те мальчики буквально тонули в собственной крови. Они даже не могли говорить, потому что кровь стояла у них в горле и во рту. Многие умирали так быстро, что некуда было их хоронить, поэтому тела сваливали во дворе. Я приходил туда помогать и видел все собственными глазами. В армию призвали всех мальчиков из колледжа, «испанка» подкосила и их, так что колледж пришлось закрыть, а в его зданиях разместить больничные койки. И повсюду правила бал страшная смерть, прямо здесь, в Айове. И уж если это нельзя считать знаменем, то я вообще не знаю, что такое знамение. И я написал об этом проповедь. Я сказал или собирался сказать, что эти смерти спасали глупых молодых людей от последствий их собственного невежества и храбрости, что Господь забрал их к себе, прежде чем они успели бы совершить братоубийство. И я утверждал, что их смерти были знаменем и предупреждением для всех нас о том, что жажда войны принесет страшные последствия, ибо ни один океан не велик настолько, чтобы защитить нас от гнева Господа, когда мы начинаем ковать мечи из плужных лемехов, а серпы превращаем в копья, попирая волю и милосердие Господне.

Хорошая получилась проповедь, наверное. Когда писал ее, я думал, как она понравилась бы моего отцу. Но моя решительность таяла, ибо я знал: в церковь придет лишь несколько старых женщин, которые и без того изнемогают от страха и грусти и одобряют войну не больше, чем я. И они приходили, несмотря на то что я тоже мог оказаться заразным. Мне

показалось нелепым вообразить, как я буду громогласно вещать с кафедры при таких обстоятельствах, и я сжег свое творение и прочитал проповедь на тему притчи о заблудшей овце. Жаль, я не сохранил ту проповедь, ибо в каждое слово вкладывал душу. Быть может, это единственная проповедь, за которую мне было бы не стыдно ответить на том свете. А я сжег ее. Но прихожанка Мирабель Мерсер не была Понтием Пилатом, как и Вудро Вильсоном.

Теперь я думаю, каким храбрым ты, должно быть, меня вообразил, если, разбирая мои архивы, прочитал об этом. В другие времена это сложно понять. Ты и представить не можешь почти пустое святилище, где сидят лишь несколько женщин в плотных вуалях в надежде скрыть маски на лицах и двое или трое мужчин. Я больше года читал проповеди, окутав рот и шею шарфом. От всех пахло луком, потому что ходили слухи, будто лук убивает вирус гриппа. Люди натирались табачными листьями.

Тогда почти на каждом перекрестке стояли бочонки, куда мы могли кидать персиковые косточки, помогая в борьбе с войной. Армия сжигала их, превращая в уголь, как говорили, для изготовления фильтров для противогазов. На один такой фильтр уходили сотни косточек. Так что все мы ели персики на волне патриотизма, и от этого они обретали немного другой вкус. Во всех журналах публиковали фотографии солдат в противогазах, и выглядели они еще более странно, чем мы. Удивительное было время.

Многим молодым людям, похоже, казалось, будто война – удел храбрых, и, быть может, с тех пор как я это написал, завязались новые войны, которые отпечатались в твоём сознании как проявления храбрости. А то, что войны были, я не сомневаюсь. Я верю, что чума была величайшим знаменем для человечества, а мы отказались принять это и истолковать ее как послание Господне, и с тех пор землю раздирают войны.

Я до сих пор сомневаюсь, правда это или нет. Боутон сказал бы: «Это типичная кафедральная речь». Вполне справедливо, но я не знаю, что это значит.

Мои личные темные годы, как я привык говорить, это время одиночества, которое растянулось почти на всю жизнь. И я не могу правдиво описать себя, не рассказав об этом. Время текло так странно: как будто каждая очередная зима была одной и той же зимой, а каждая весна – одной и той же весной. А еще в моей жизни был бейсбол. Я прослушал трансляции тысяч матчей, наверное. Иногда я мог различить половину

игры, потом наступало статическое безмолвие, потом ревела толпа – плоский маленький звук, сам по себе почти статичный, как пустой звук в морской раковине. Мне нравилось представлять себе игру, это напоминало разгадывание какой-то хитрой загадки в уме, некое космическое движение. Если мяч летит к левому полю и есть бегуны на первой и третьей базах, то мысленно я переставляю бегунов и ловца на шорт-стоп. Мне нравилось это делать, и я не могу объяснить почему.

Подобным образом я размышлял о беседах, которые остались в прошлом. По большей части моя работа заключается в том, чтобы выслушивать людей в этом особо интимном акте исповеди или хотя бы содействовать в отпущении грехов, и это всегда казалось мне интересным. Не то чтобы я когда-то рассматривал эти беседы как некое соревнование, я говорю о другом. Но если взглянуть на игру абстрактно, возникает вопрос: где сила, что есть стратегия? Словно ты не был заинтересован в исходе, а лишь в наблюдении за тем, как обе стороны справятся друг с другом, как много они могут требовать друг от друга, как сама жизнь, которая является предметом всего сущего, присутствует во всем происходящем. Под «жизнью» я подразумеваю нечто вроде «энергии» (в том понимании, которое культивируется учеными) или «живости», но это уже другое понятие. Когда люди приходят поговорить, какие бы слова они ни произносили, меня всегда поражает некое напряжение, которое они излучают: «я», которое характеризуется действием вроде «люблю», или «боюсь», или «хочу» и объектом в виде «кого-то» или же «ничего». Впрочем, это уже не играет особой роли, ибо вся прелесть – в одном наличии объекта, прилагаемого к этому «я», как пламя к фитилю, который пылает, испуская клубы горя, и вины, и радости, и чего бы то ни было еще. Быстро, и жадно, и находчиво. Возможность увидеть эту сторону жизни – привилегия священнослужителей, о которой редко говорят.

Хорошая проповедь – лишь одна сторона беседы, исполненной страсти. Нужно относиться к ней именно так. Разумеется, в этой беседе три стороны, как и в самой сокровенной мысли: личность, которая формулирует мысль, личность, которая признает ее и каким-либо образом на нее отвечает, и Господь. Это удивительно, если задуматься.

Я пытаюсь описать то, что никогда раньше не пытался облечь в слова. Я растерял силы в этой борьбе.

Однажды, слушая трансляцию бейсбольного матча, я понял, как в действительности движется луна – по спирали. Ведь, путешествуя по орбите Земли, она следует за нашей орбитой и тоже вращается вокруг солнца. Это очевидно, но осознание данного факта порадовало меня. За

окном светила полная луна, молочно-белая на голубом небе, и «Кабс» играли против «Цинциннати».

Это упоминание о шуме морской раковины напоминает мне пару строк из стихотворения, которое я когда-то написал:

Открой моллюска панцирь – и увидишь письмена,
Сокрытые за пошептом благим.

Больше ничего из этого стихотворения хранить в памяти и не стоило. Один из сыновей Боутона зачем-то ездил на Средиземное море и прислал оттуда ту самую большую ракушку, которую я хранил на столе. Мне всегда нравилось слово «пошепт», но я так и не нашел ему иного применения. Кроме того, что знал я в эти дни, помимо букв, благости и статики? И что еще любил? В то время многие читали книгу «Дневник сельского священника». Написал ее французский писатель по фамилии Бернанос. Я глубоко сопереживал главному герою, а Боутон говорил: «Все дело в доносительстве». Он утверждал: «Господу просто нужен был более подходящий кандидат на эту позицию». Помню, как я читал эту книгу всю ночь, пока одна за другой отключались радиостанции, и продолжал читать до рассвета.

Как-то раз дед повез меня в Де-Мойн на поезде на игру с участием Бада Фаулера. Сезон или два он провел в городе Кеоук. Старик пригвоздил меня к месту взглядом единственного глаза и сказал, что нет ни одного человека на этой круглой земле, который бегал бы быстрее или бросал точнее, чем Бад Фоулер. Я очень воодушевился. Но в ходе матча так ничего и не произошло, или так я тогда думал. Ни выразительных пробежек, ни попаданий, ни грубых ошибок. В пятом иннинге гроза, которая дремала за горизонтом весь день, наступила на нас и положила всему конец. Я помню, как застонала толпа, когда начался сильный дождь. Мне было всего десять, и я испытал чувство облегчения, а вот дед, напротив, – чувство глубокого разочарования. Еще одно страшное разочарование для бедного старого дьявола. И я говорю это с большим уважением. Даже отец называл его так, и мама тоже. Он потерял глаз на войне и в целом имел свирепый вид. Но он был отличным проповедником в духе своего времени, как говорил мой отец.

В тот день он принес маленький пакет лакрицы, что действительно меня удивило. Всякий раз, когда он запускал туда пальцы, пакетик шуршал из-за его дрожащих рук, и этот звук напоминал треск костра. Я заметил это тогда, и мне это показалось естественным. Также я в какой-то степени

предполагал, что гром и молния в тот день явились проявлением воли Создателя, который словно хотел подать ему шляпу со словами: «Рад видеть вас в числе зрителей, ваше преподобие». Или, быть может, сказать: «Что же вы, ваше преподобие, делаете здесь, на спортивном мероприятии, в то время как мир изнемогает от страданий?»

Однажды моя мать сказала, что он притягивает грозных друзей, используя слово «грозный» в традиционном смысле, разумеется, и подразумевая лишь уважение. В молодости он водил дружбу с Джоном Брауном и Джимом Лейном. Жаль, я не могу поведать тебе об этом больше. В нашем доме действовало некое перемирие, при котором воспрещались всякие разговоры о былых временах в Канзасе, а также о войне. Вскоре после поездки в Де-Мойн мы его потеряли или он сам себя потерял. Как бы там ни было, через пару недель он покинул Канзас.

Я где-то читал, что предмет, который не имеет никакого отношения к другим предметам, не может считаться существующим в реальности. Я не вполне осознаю смысл столь гипотетического высказывания, хотя есть вероятность, что мне просто недостает понимания. Однако оно напоминает мне о том дне, когда ни один объект не взлетел в воздух, никто не поскользнулся, не покачнулся и не упал, да и вообще нечего было обсудить. Мне кажется, гроза призвана была положить этому конец, как будто на поле разгорелся костер, который требовалось потушить, подрывая устои мира этим тревожным фактом небытия. «На небесах примерно полчаса молчали». Похоже, я запомнил это именно так, хотя это затянулось на дольше, чем полчаса. Небытие. В этом слове чувствуется мощь. Моему деду негде было растрачивать храбрость, и он никак не мог ощутить ее в себе. Очень прискорбно, что все вышло именно так.

Когда я пишу эти строки, то осознаю, что моя память, по сути, раздула из мухи слона. Я помню старика – моего деда, – который сидел подле меня в пальто пепельного цвета и дрожал, потому что так было всегда, и с бережливостью делился со мной лакричными палочками. Быть может, именно в тот день Канзас каким-то образом превратился из воспоминания в намерение в его мыслях. (Он возвратился в Канзас, а не в тот город, где раньше находилась его церковь. Вот почему мы так долго искали его.) Бад Фаулер стоял на второй базе, опустив перчатку на бедро и наблюдал за ловцом. Я знаю, что он любил играть без перчатки, но у меня в памяти отпечатался именно такой образ, и это все, что я о нем помню. Бессмысленно пытаться навязать себе какое-то иное воспоминание. Я следил за его карьерой в газетах долгие годы, до тех пор, пока не основали негритянскую лигу, и потом как-то упустил его из виду.

В старшей школе и колледже я уже вполне прилично проповедовал, и в семинарии у нас сложилась пара бейсбольных команд. По субботам мы собирались на свежем воздухе покидать мяч. Бейсбольное поле сплошь поросло травой, так что оставалось только догадываться, где находились базы. Хорошие были времена. Удивительные молодые люди учились в те дни в семинарии. Да и сейчас учатся, я уверен.

Когда мы с отцом прогуливались по дороге в тишине и лунном свете, вдали от кладбища, где нашли старика, отец сказал: «Знаешь, все в Канзасе видели то же самое, что и мы». Тогда (помню, мне было двенадцать) я решил: он подразумевает, что весь штат стал свидетелем нашего чуда. Я подумал, весь штат поручится за то, что отец привезет с собой особое благословение благодаря молитве на могиле отца или славе, которую дед неким образом снискал, отправившись в мир иной. Позже я понял: отец говорил о луне и солнце, которые соединились в небе без какого бы то ни было отношения к нам. Он никогда не поощрял разговоры о видениях и чудесах, кроме тех, о которых говорилось в Библии.

Не могу сказать, однако, как чувствовал себя я, прогуливаясь рядом с ним той ночью по изрезанной колеями дороге через пустошь, какую приятную мощь ощущал в нем, и в себе, и вокруг нас. Я рад, что не понимал этого, ибо редко испытывал подобную радость и уверенность. Это было одно из тех мгновений, когда тебя переполняет сумасбродное ощущение, которое появляется раз в жизни. И не важно, что это – вина или ужас. Благодаря ему ты осознаешь, какой удивительный инструмент представляешь собой, если можно так выразиться, какую власть тебе придется испытывать за пределами собственного понимания. Кто бы мог подумать, что луна может так ослепительно сиять и гореть, как пламя? Несмотря на слова отца, я видел, что он потрясен. Ему пришлось остановиться и вытереть слезы.

Мой дед рассказал мне однажды о видении, которое посетило его, когда он еще жил в штате Мэн, но ему не исполнилось и шестнадцати. Он уснул у огня, изможденный после целого дня, на протяжении которого помогал отцу выкорчевывать пни. Кто-то дотронулся до его плеча, и когда он поднял глаза, рядом стоял Господь, протягивая к нему руки, скованные цепями. Дед сказал: «Железо протерло Его плоть до костей». Он поведал мне об этом с глубочайшим сожалением и обратил на меня ангельский взгляд своего единственного взгляда, в котором читалась свежая боль от старой раны. Тогда он говорил, что приехал в Канзас для того, чтобы

служить во имя отмены рабства. Служение во имя чего-то было самым лучшим из того, на что надеялись старики, а самым страшным для них была потеря цели. Я с глубоким уважением отношусь к такой точке зрения. Когда я рассказал отцу о видении, которое описал дед, он просто кивнул и сказал: «Времена такие были». Сам он никогда не утверждал, что у него был подобный опыт, и, похоже, хотел заверить меня: не нужно бояться, что Господь придет ко мне со своими печальями. И я нашел утешение в этих заверениях. Странно размышлять об этом.

Дед казался мне усталым и пораженным какой-то болезнью. Так и было: он напоминал человека, которого навеки поразила молния, и на его одежде навсегда остался налет пепла, волосы были вечно взъерошены, а глаз хранил выражение трагического беспокойства, когда он бодрствовал. Он был самым безрассудным человеком из всех, кого я когда-либо знал, если не считать некоторых его друзей. Всем им к старости даже присесть было не на что, и они сами выбрали такой путь, словно их мучило предубеждение против мебели. В них вообще не было плоти. Они напоминали еврейских пророков, которых против их воли отправили на пенсию, или представителей примитивной церкви в ожидании того момента, когда им разрешат судить ангелов. Среди них был один старик, и у него на руке, которой он благословлял и крестил людей, остался ожог от того, что он схватился за ствол молодого джейхокера^[7]. «Я думал, этот ребенок не хочет в меня стрелять, – говорил он. – Ему еще лет пять оставалось до того момента, когда начинают расти усы. Он должен был сидеть дома с мамочкой. И я сказал: «Просто отдай мне эту штуку», – и он отдал, ухмыляясь при этом. Я не мог выпустить пистолет из рук – думал, быть может, он шутит – и не мог переложить его в другую руку, потому что она была перевязана. И я так и ушел».

Они учились в Лейне и Оберлинском колледже и знали идиш и греческий, как и Локка с Мильтоном. Некоторые из них даже основали симпатичный маленький колледж в Таборе. Какое-то время он просуществовал. Люди, которые его заканчивали, особенно молодые женщины, сами отправлялись на другой край земли в качестве учителей и миссионеров, а возвращались по прошествии десятилетий и рассказывали нам о Турции и Корее. И все же это были дерзкие старики по большей части. Так что представлялось вполне естественным, что могила деда походила на пожарище.

Только что я слушал одну песню по радио и стоял, покачиваясь под музыку, наверное, потому что твоя мать увидела меня из коридора и сказала: «Я могла бы показать тебе, как это делать правильно». Она подошла, обняла меня и положила голову мне на плечо, а через какое-то время сказала самым нежным на свете голосом: «Почему тебе обязательно быть таким старым, черт возьми?»

Я задаю себе тот же вопрос.

Пару дней назад вы с мамой пришли домой с цветами. Я знал, где вы были. Разумеется, она водит тебя туда, чтобы ты немного привык к этому

месту. Еще я слышал, что она хорошо его украсила. Она заботливая женщина. У тебя в руках была жимолость, и ты показал мне, как слизывать нектар с соцветий. Ты откусил кончик цветка и подал его мне, а я положил цветок в рот целиком и притворился, что жую его и глотаю, а еще дул в него, как в маленький свисток, а ты хохотал и хохотал и говорил: «Нет! Нет! Нет!» А потом я сделал вид, как будто у меня во рту жужжит пчела, а ты говорил: «Нет, это неправда! Не было там никакой пчелы!» И я схватил тебя за плечи и дунул тебе в ухо, а ты подпрыгнул, как будто решил, что пчела все-таки была. И ты рассмеялся, а потом вдруг принял серьезный вид и сказал: «Я хочу, чтобы ты сделал так». А потом ты положил руку на мою щеку и коснулся цветком губ так нежно и осторожно. «Теперь пей, – потребовал ты. – Ты должен принять лекарство». И я послушался, и вкус оказался точно такой, как у жимолости, когда я пробовал ее в твоём возрасте и она, похоже, росла на каждом заборном столбе и на перилах каждого крыльца в округе.

Меня изумило, как падал свет в тот день. Я обращал большое внимание на свет, хотя никто больше не придавал ему значения. Создавалось такое ощущение, как будто свет настолько тяжелый, что может выжать влагу из травы и вытеснить запах кислого старого дерева из досок на полу веранды и немного согнуть ветви деревьев, как поздний снег. Это был такой свет, который ложится на плечи, как кошка на колени. Это так знакомо. Старушка Соупи нежилась на солнце, растянувшись на дорожке. Ты помнишь Соупи? Хотя не знаю, почему ты должен ее помнить. Это ничем не примечательное животное. Я ее сфотографирую.

Мы сидели и пили нектар из жимолости до самого ужина, а мама принесла фотоаппарат, так что, возможно, у тебя остались какие-то фотографии. Пленка кончилась, прежде чем я успел сфотографировать ее. Как обычно. Иногда, если я пытаюсь снять ее, она закрывает лицо руками или просто выходит из комнаты. Она не считает себя красивой женщиной. Не знаю, откуда у нее взялись такие мысли, и не думаю, что когда-нибудь это узнаю. Иногда я задаюсь вопросом, почему она – изящная жизнелюбивая женщина – вышла замуж за такого старика, как я. Мне бы в голову не пришло сделать ей предложение. Я никогда не осмелился бы. Это была ее идея. Я часто напоминаю себе об этом. Да и она мне тоже напоминает.

Я не верил, что когда-то буду наблюдать, как моя жена лелеет моего ребенка. Изумляюсь всякий раз, когда думаю об этом. Я пишу это отчасти

для того, чтобы пояснить: если ты когда-нибудь недоумевал, что сделал за свою жизнь, а рано или поздно каждый задает себе этот вопрос, то ты был для меня Божьей милостью, чудом, даже больше, чем чудом. Возможно, ты не очень хорошо меня помнишь и тебе кажется, это не так уж здорово – быть послушным ребенком старика в захолустном маленьком городке, из которого ты, несомненно, уедешь. Если бы только у меня хватало слов, чтобы рассказать тебе все...

Волосы ребенка мерцают в солнечном свете. Они переливаются цветами радуги, мягкими крошечными лучиками тех же цветов, что иногда можно увидеть в каплях росы. Они – в цветочных лепестках и на коже ребенка. У тебя прямые темные волосы и очень светлая кожа. Полагаю, ты не намного красивее большинства детей. Ты просто милый мальчик, чуть худощавый, всегда опрятный и с хорошими манерами. Все это прекрасно, но я люблю тебя главным образом за то, что ты просто есть. Существование кажется мне теперь самой замечательной вещью, которую можно представить. Я вскоре отправлюсь в объятия вечности. Через мгновение – ты и глазом не успеешь моргнуть.

Моргнуть глазом. Удивительное выражение. Иногда я думал, что самое лучшее в жизни – это милая теплота, которую можно увидеть в людях, когда они очарованы чем-то или забавляются. «Светлый взгляд радует сердце». Воистину это так.

В то время как ты читаешь эти строки, я уже вечен и в каком-то смысле живее, чем был когда бы то ни было, даже в годы юности, когда меня окружали близкие. Ты читал о фантазиях взволнованного, одурманенного старика, а я живу в свете, который лучше любых фантазий. И все же я не жду тебя здесь, ибо хочу, чтобы твоя брэнная оболочка прожила долго и полюбила этот несчастный брэнный мир. Почему-то я и представить не могу, что не буду горько скучать по нему, хотя страстно хочу увидеть, каково это – воссоединиться с женой и ребенком. Я говорю о Луизе с Ребеккой. Я много лет задавал себе этот вопрос. Что ж, это старое семя вскоре упадет в землю. Тогда и узнаю.

У меня есть несколько фотографий Луизы, но не думаю, что эти портреты имеют большое сходство с оригиналом. Хотя, если учесть, что я не видел ее пятьдесят один год, едва ли я могу судить. Когда ей было девять или десять, она прыгала через скакалку с удивительной скоростью, а если ты пытался ее отвлечь, она просто отворачивалась и продолжала прыгать, никогда не сбиваясь. Косички подпрыгивали и били ее по спине.

Иногда, только я пытался схватить ее за одну из них, она уносилась вперед, продолжая прыгать. Она могла бы совершить сотню, а то и миллион прыжков, и отвлечь ее было совершенно невозможно. В домашней книге по здоровью, которая была у мамы, говорилось, что девочке нельзя позволять испытывать здоровье на прочность, но, когда я показал Луизе ту самую страницу, на которой это было написано, она просто велела мне не совать нос в чужие дела. Она всегда бегала босиком, косички ее парили в воздухе, а панамка была сбита набок. Не знаю, когда девочки прекращают носить панамки и зачем они вообще их носят. Если они предназначены для того, чтобы спастись от веснушек, то могу ответственно заявить: это бесполезно.

Я всегда завидовал мужчинам, которые видели, как старились их жены. Боутон потерял жену пять лет назад, а он женился раньше, чем я. У его старшего сына уже белые, как снег, волосы. А внуки по большей части в браке. Что до меня, я никогда не увижу, как вырастет мой ребенок, и никогда не увижу, как состарится моя жена. Я многих людей сопровождал на протяжении жизни, крестил сотни детей и все это время чувствовал себя так, словно большая часть жизни проходит мимо меня. Твоя мама говорит, я был как Авраам. Только у меня не было старой жены и никакого намека на ребенка. Я жил, довольствуясь книгами, бейсболом и бутербродами с яичницей.

Вы с кошкой пришли ко мне в кабинет. Соупи устроилась у меня на коленях, а ты лежишь на животе на полу в квадрате солнечного света и рисуешь самолетики. Полчаса назад ты сидел у меня на коленях, а Соупи нежилась в квадрате солнечного света. И, сидя у меня на коленях, ты рисовал, как ты объяснил мне, «Мессершмитт-109». Вот он – в углу страницы. Ты выучил все названия из книги, которую Леон Фитч подарил тебе месяц назад, втайне от меня, потому что, мне кажется, он понимал – я этого не одобрю. Все твои рисунки похожи на тот, что ты видишь в углу, но называешь ты их по-разному – «спад», и «фоккер», и «зеро». Ты всегда пытаешься заставить меня прочитать то, что написано мелким шрифтом: сколько у них пушек и сколько бомб он может нести. Если бы мой отец был здесь и если бы на моем месте был он, я бы нашел способ убедить тебя, что благороднее и человечнее всего было бы вернуть книгу старому Фитчу. Мне в самом деле следовало так поступить. Но он хотел как лучше. Быть может, я просто спрячу ее в кладовой. Когда ты понял, что кладовая – волшебное место? Вот куда мы кладем все вещи, до которых ты не должен

добраться. Теперь, задумываясь об этом, я понимаю: половина вещей в кладовке находятся там потому, что кто-то из нас не хочет, чтобы их нашел другой.

Я мог бы снова жениться еще в молодости. Прихожанам нравятся женатые священники, и меня перезнакомили со всеми племянницами, золовками и свояченицами в округе. Оглядываясь назад, я с благодарностью думаю о том нежелании с кем-то сходиться, которое удерживало меня в одиночестве, пока не появилась твоя мама. Теперь, когда я задумываюсь о прошлом, мне кажется, что в этой крошечной тьме готовилось рождение чуда. Так что я справедливо вспоминаю эти времена как благословенные, а себя – как человека, который с уверенностью чего-то ждал, хотя я понятия не имел, чего жду.

Потом твоя мама все-таки пришла, хотя мы были едва знакомы, одарила меня своим особенным взглядом и, не мигая, сказала очень тихо и очень серьезно: «Ты должен на мне жениться». Тогда впервые в жизни я понял, что это значит – любить другого человека. Не то чтобы раньше я не любил людей. Но я не осознавал, что это *значило*, когда любил их раньше. Даже моих родителей. И даже Луизу. Я был так потрясен, когда она произнесла эти слова, что еще минуту не знал, что ответить. И она просто ушла, а мне пришлось бежать за ней по улице. У меня все еще не хватало храбрости дотронуться до ее рукава, но я сказал:

– Ты права, я женюсь.

А она ответила:

– Тогда увидимся завтра. – И продолжила свой путь.

Это был самый волнующий опыт за всю мою жизнь. Я бы мог пожелать тебе испытать нечто подобное, но когда вспоминаю о том, что пришлось пережить мне и твоей милой маме до этого, то сомневаюсь, что это было бы правильно.

Вот сейчас я пытаюсь мудрствовать, как настоящий отец и определенно как старый пастор. Не знаю, что тут можно сказать. Пожалуй, только то, что самая страшная беда – это не просто беда. Даже сейчас, когда я вывожу на бумаге эти слова, я думаю о Ребекке, о том, какой у нее был вид, когда я дотронулся до нее. Судя по всему, я хорошо это запомнил, ибо всякий раз, когда я крестил ребенка, я снова и снова думал о ней. Это ощущение детского лобика под твоей ладонью – как же я любил эту новую жизнь! Боутон крестил ее, как я уже говорил, а я просто положил на нее руку, чтобы благословить. И я чувствовал ее пульс, ее тепло, влажность ее лобика. Господь сказал: «Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца

Моего Небесного»^[8]. Вот почему Боутон назвал ее Анжелиной. Многие, многие люди, нашли утешение в этих строках.

В последнее время я много думаю о бытии. На самом деле я так упивался бытием, что едва ли мог насладиться им в полной мере. Подходя к церкви утром, я миновал ряд больших дубов у военного мемориала, если ты их помнишь, и вспомнил другое утро, которое выдалось осенью год или два назад. Тогда с них градом сыпались желуди. В листве раздавался треск, и желуди со стуком падали на асфальт, пролетая мимо моей головы. И все это, разумеется, происходило в темноте. Я помню, как сиял на небе серп луны. Стояла ясная ночь или даже утро, повсюду царило спокойствие, и вдруг почувствовалась такая энергия этих плодов, сотрясающих деревья, которая была сравнима с силой грозы или напряжением в родах. Я стоял там, немного озадаченный, и подумал: как все это ново для меня. Я всю жизнь прожил в прерии, а меня до сих пор потрясает дубовый перелесок.

Иногда я чувствую себя, как ребенок, который открывает глаза и видит мир в первый раз и замечает удивительные предметы, названий которых не знает, а потом его вновь вынуждают закрыть глаза. Я знаю, это всего лишь бледное подобие того, что ожидает нас, но из-за этого зрелище не становится менее прекрасным. В нем есть человеческая красота. И я не могу поверить, что после того как полностью изменимся и станем совершенны, мы забудем это фантастическое состояние бренности и непостоянства, большую светлую мечту о рождении и смерти, которая значила для нас так много. Для вечности этот мир будет как Троя, наверное, а все произошедшее здесь будет земным эпосом, балладой, которую распевают на улицах. Потому что я не представляю иной реальности, которая может полностью заслонить эту, и, думаю, будучи человеком набожным, не должен об этом думать.

Вчера вечером умерла Лейси Траш. Не удивительное ли имя? Ее мать тоже звали Лейси. Эта семья жила здесь давно, но из всех Лейси осталась только она, а все Траши перебрались в Калифорнию. Лейси была старой девой. Она отошла в мир иной быстро и подобающим образом из уважения ко мне, как я подозреваю, потому что ее беспокоило мое здоровье. Полчаса она пролежала в сознании, еще полчаса – без, и угасла. Мы прочитали «Отче наш» и Двадцать третий псалом, потом она пожелала услышать гимн «Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал» в последний раз, и я запел, а она немного подпевала, а потом начала кивать. Я восхищен ею. Она в принципе поставила для меня такую планку,

которой я должен был соответствовать, если можно так выразиться. Как бы там ни было, она не задержала меня до поздней ночи, и умиротворенность ее сна передалась и мне. Эти старые святые благословляют нас при любой возможности.

Раньше мой дед и его друзья любили рассказывать одну историю и потешались над ней. Я не могу поручиться за ее полную достоверность, поскольку они общались в такой манере, которая позволяет мне усомниться, что они разделяли следующее мнение: приукрасить историю – все равно что отклониться от правды.

В любом случае в каком-нибудь всеми забытом маленьком поселении аболиционистов, как здесь, как только люди открывают галантерейный магазин на одной стороне дороги, а конюшню – на другой, они договариваются проложить друг к другу тоннель. Тогда строительство тоннелей пользовалось популярностью, и с особой изобретательностью разрабатывались укромные места и маршруты для бегства. Верхний слой почвы в Айове настолько глубок, что здесь можно прокладывать тоннели большей длины и в большем количестве, чем в менее благоприятных районах, как Новая Англия. В этой части штата почва к тому же содержит большое количества песка, как известно.

Итак, это были разумные люди с благими намерениями. Но они так увлеклись строительством тоннеля, что упустили из виду некие практические моменты. Они вложили в строительство столько сил, что чуть не превратили тоннель в памятник гражданского подземного искусства. Один из стариков говорил, что не хватает только люстры. То, что произошло потом, объяснялось просто: они сделали его слишком большим и чересчур близко к поверхности и не смогли установить опоры, ибо в те дни дерево в прерии было на вес золота и для немногочисленных построек его привозили из Миннесоты. Даже умные люди иногда теряют способность к здравомыслию.

Когда они почти закончили копать, в городе появился незнакомец на большой черной лошади. Он остановился в самом неподходящем месте, чтобы спросить у прохожего, куда он попал, и прямо с лошадью, проломив дорогу, провалился в этот тоннель. Когда пыль улеглась, лошадь встала в этом кратере, который доходил ей до груди. А мужчина спешился и принялся ходить вокруг в недоумении. Он даже не пытался делать никаких выводов, хотя мог бы. А когда пришли люди узнать, что случилось, и заметили, насколько он поражен, они подумали, что им тоже лучше всего изобразить страшное изумление. И они все стояли там, сложив руки на

грудь, и говорили: «Вот чертовщина», – или нечто подобное, и обсуждали, насколько рискованно ездить на такой большой лошади. Разумеется, бедное животное попыталось выбраться. Кто-то притащил ведро овса, залитого парой бутылок виски, лошадь съела корм и вскоре заснула. Путник пришел в уныние, ибо его лошадь не только попала в дыру, но еще и лишилась сознания. Последнее, похоже, расстроило бы его не так сильно, не будь он трезвенником. А храпящая лошадь, голова которой покоилась на дороге, воистину представляла собой мрачное зрелище, которое он с трудом мог воспринять.

Что ж, такие деяния явились плодом работы людей с высокими религиозными убеждениями, и ведь им не доставляло удовольствия наблюдать, как этот безобидный незнакомец рвет на себе бороду и швыряет шляпу на землю. Хотя какое-то удовольствие они все-таки испытали. Однако им казалось, что лучше всего будет выдворить этого парня из города как можно скорее, чтобы они сами разобрались с лошадью, ибо любой джейхокер, приехавший из Миссури, или охотник за рабами, пробегающий мимо, мог бы истолковать увиденное в свете собственных убеждений и подозрений. Так что один из местных жителей предложил пострадавшему обменять его лошадь на лошадь, застрявшую в яме. Ты можешь подумать, что парень счел эту сделку выгодной, но он еще долго обдумывал ее, сидя на крыльце галантерейного магазина. В обмен ему предложили кобылу размером поменьше, и путник допускал, что это можно расценивать как преимущество. Он попытался рассмотреть ее зубы и был укушен, а потом принялся проклинать невезение, которое привело его сюда, и попросил займы лопату, чтобы выкопать лошадь. И проповедник с серьезным видом заявил ему, что все их лопаты сгнули в страшном пожаре. «Железные части остались, и мы с удовольствием их предоставим, – заявил он. – Пропали только ручки». Разумеется, он солгал, но исключительно ввиду необходимости срочно спасти ситуацию.

Наконец, незнакомец согласился принять кобылу вместе с седлом, уздой и кое-какими принадлежностями, а также бечевку и предложение почистить сапоги, призванные восстановить его веру во вселенскую справедливость в качестве скудной компенсации за его мучения. И это было весьма благоразумно с его стороны.

Избавившись от него, местные жители могли наконец задуматься, как решить проблемы с лошадью. Несколько мужчин подошли к ней спереди и сзади, чтобы проверить состояние ног, ведь если одна из них была сломана, им пришлось бы пристрелить животное. Потом они могли бы расчленив труп, затащить его под землю и заделать дыру в дороге, придав ей

первозданный вид. Но ноги оказались целы.

Раскапывая землю вокруг лошади, они обнажили бы туннель еще больше. Однако они решили, что у них нет иного выбора, кроме как раскопать достаточно, чтобы вывести лошадь из этой ямы. Тем временем она начала просыпаться, ржать и трясти хвостом. И они решили снять опоры сарая и опустить его на лошадь прямо посреди дороги. Сарай был маленький, поэтому лошадь могла уместиться в нем только по диагонали, так что туловище лошади, по сути, стало гипотенузой для двух прямых треугольников.

Все это кажется нелепым. Но на самом деле одно неверное суждение может быстро создать ситуацию, при которой возможны только глупые поступки. Кто-то заметил, что хвост лошади лежит на дороге, так что пришлось просунуть ребенка в окно сарая, чтобы он втянул его внутрь.

Так получилось, что в это время в селении оказался молодой негритянский парень – первый из беглецов, который добрался в город. Из-за его присутствия люди еще более остро ощущали всю серьезность своего положения и еще больше смущались из-за лошади. Молодой человек, который обычно сидел в галантерейном магазине, если только не появлялись какие-либо причины для беспокойства, все видел и слышал. И было совершенно очевидно, как сильно ему хочется расхохотаться. Ему приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы сдержаться. Он старался не встречаться с хлопочущими людьми взглядом и почти до крови кусал губы. Когда сарай понесли по дороге и принялись водружать над лошадью наискосок, из магазина послышался резкий, мучительный, невольный взрыв смеха.

Именно в тот момент они задумались над тем, что парень, вероятно, испытывает вполне оправданную тревогу и задается вопросом, не покинул ли их здравый смысл. В самом деле, в ту же самую ночь он сбежал и направился на север совершенно один. Несомненно, он справедливо заключил, что слишком много происшествий сотрясло окрестности и это могло бросить на него тень подозрений, так что решил обратиться подобру-поздорову.

Когда люди поняли, что случилось, двое мужчин отправились за ним на двух вполне приличных лошадях, которые остались в деревне после обмена на лошадь, попавшую в ловушку (они хотели удостовериться, что незнакомец уехал достаточно далеко, для того чтобы не вернуться, поэтому предложили ему самую лучшую лошадь). Как бы там ни было, они надеялись перехватить беглеца, чтобы дать ему еду и одежду и направить в ближайшее аболиционистское поселение, но целых два дня он от них

скрывался. Потом, когда они остановились на ночлег и уже ложились спать, он выпрыгнул из темноты и произнес: «От всей души благодарю вас, но, я думаю, мне будет лучше одному». Они передали ему охапку вещей, которые везли для него, и он вновь удалился во тьму: «А лошадь-то вытащили?» – выкрикнул он, посмеялся немного, и больше его никто не видел.

Они действительно выкопали пологую канаву и смогли вывести лошадь, так что план сработал. Но потом столкнулись с другой проблемой: от тоннеля оказалось не так-то просто избавиться. Они приложили массу усилий, когда прокладывали его, разбрасывая землю по всей округе, чтобы скрыть следы рытья, и, разумеется, невозможно было повернуть вспять этот процесс. В то время как они прокладывали тоннель неторопливо и в атмосфере секретности, закопать его требовалось открыто и быстро. Яма осыпалась по краям, земля проваливалась, и дыра расширялась с каждым днем. (Сарай предусмотрительно унесли, поскольку сарай в дыре посреди дороги выглядит не менее подозрительно, чем лошадь.) Быстрее всего было бы разрушить тоннель и заполнить его сверху, но тропинка, которую он образовывал, ведущая от конюшни к магазину, сразу же стала бы заметной и навеки осталась там. Поэтому они выбрали холм, который собирались сровнять с землей, и днем и ночью принялись возить на тележках почву к тоннелю. А на крышу галантерейного магазина посадили дозорного, который должен был оповещать о прибытии чужаков. А если бы их спросили, чем они занимаются, они заявили бы, что строят ступенчатые террасы, как в одной книге местного проповедника с иллюстрациями, где рассказывалось об обычаях народов Востока. Полагаю, в таких обстоятельствах ничего лучше и придумать было нельзя.

Эти люди привыкли к тяжелой работе, но на самом деле было невозможно перетащить землю с одного места на другое и утрамбовать так плотно, как это веками делали дождь, снег и жара со времен сотворения мира. Поэтому, несмотря на все усилия, которые они предприняли, чтобы свести на нет свои труды, предпринятые раньше, с первым сильным дождем дорога просела по всей длине тоннеля, который под ней находился. Потом они принялись сыпать землю сверху, поскольку выбора у них не оставалось и терять им было нечего. И все равно она проседала, как только шел дождь.

Когда, наконец, наступила зима и ударил сильный мороз со снегом, они собрали пару зданий, которые у них были, поставили их на дощатый настил, запрягли лошадей и перевезли все селение на милю вперед по дороге. Им пришлось забрать и надгробия, чтобы никто не догадался, где

находился город. Это навевало тоску, но надгробий было всего три или четыре. Тоннель превратился в нечто вроде русла реки, весной там образовывался ручей с милыми зелеными берегами и цветами, которые разрослись повсюду, рассеявшись из старых садов. Люди, которые ничего лучше в жизни не видели, устраивали рядом пикники: стелили одеяла, расставляли корзины на бедных забытых могилах и радовались, что вполне понятно, если вспомнить всю историю с самого начала.

Вы с Тобиасом прыгаете вокруг разбрызгивателя для полива газона. Разбрызгиватель – потрясающее изобретение, потому что разбрасывает дождевые капли в лучах солнечного света. Это явление встречается в природе, но довольно редко. Учась в семинарии, я иногда наблюдал за крещением в реке. Это было нечто: проповедник поднимал того, кого крестили, над водой, и вода лилась с его одежды и волос. Это воистину походило на рождение или воскрешение. Для нас вода лишь придает возвышенность прикосновению руки пастора к милой кости лба – нечто вроде электрического разряда. Мне всегда нравилось крестить людей, хотя порой хотелось бы, чтобы в этом процессе было больше всплесков и бульканья. Что ж, вы двое танцевали в маленькой радужной дымке, улюлюкая и топая, как должны делать нормальные люди, сталкиваясь с такой чудесной субстанцией, как вода.

В те дни, когда Эдвард вернулся из Германии, я так много думал о нем, что периодически сбегал в гостиницу повидаться с ним. Однажды я захватил с собой бейсбольный мяч, перчатку и перчатку отца, и мы пошли в переулок и немного поиграли. Сначала брат старался беречь одежду. Он заявил, что уже много лет не видел бейсбольных матчей. Но, разогревшись, повел весьма агрессивную игру. Он запустил мяч с такой силой, что, поймав его, я ощутил боль. А когда я воскликнул: «Ай!» – он с удовлетворением рассмеялся, ибо это означало: он вернул себе удар. Правда, мне было бы не так больно, если бы я готовился принять мощный удар, но такой силы я не ожидал. И тогда мы стали играть по-настоящему. Я сделал высокий бросок, а он прыгнул за мячом и красиво поймал его. К тому моменту он уже был в рубашке с расстегнутым воротом, а подтяжки болтались по бокам. Прохожие останавливались и смотрели на нас. Это была маленькая пыльная улочка, стоял жаркий день, а мы метали флаи и граундеры. Эдвард попросил у одной девочки стакан воды. Она поднесла каждому по стакану. Я свой выпил, а он вылил воду себе на голову, и она полилась с его огромных усов, как дождь с крыши.

После того дня я думал, что мы когда-нибудь сможем поговорить. Но оказалось, это не так. Все равно начиная с того дня я перестал переживать за состояние его души. Хотя, разумеется, я недостаточно компетентен, чтобы судить об этом.

Вот какие слова произнес он, стоя там, когда мокрые волосы облепили голову, а с усов струилась вода:

«Как хорошо и как приятно
жить братьям вместе!
Это – как драгоценный елей на голове,
стекающий на бороду,
бороду Ааронову,
стекающий на края одежды его;
как роса Ермонская,
сходящая на горы Сионские»^[9].

Это строки из Сто тридцать третьего псалма^[10]. Вероятно, он хотел сказать мне, что знает то же, что и я, и его это не убеждает. И все равно я часто думал, как прекрасно он поступил. Я жалел, что там не было отца, ибо знал: услышав это, он рассмеялся бы. Для человека его возраста он еще вполне прилично играл в бейсбол. Тогда я еще был очень молод и считал, что они никогда не помирятся. Поэтому меня удивляло, что Эдвард так спокойно относится к случившемуся. Я сообщил ему, что начал читать Фейербаха, а он изогнул густые брови, глядя на меня, и сказал: «Смотри, чтобы мама тебя за этим не поймала!»

Когда я говорю, что моя репутация по части набожности, честности и так далее несколько преувеличена, то не хочу, чтобы ты решил, как будто я легкомысленно отнесся к своему призванию. В этом вся моя жизнь. Я даже греческий и иврит старался поддерживать в рабочем состоянии. Раньше мы с Боутоном просматривали тексты, на основе которых собирались проповедовать, проверяя каждое слово. Он приходил сюда, ко мне домой, потому что у него дома было полно детей. С собой в корзине он приносил замечательный теплый ужин, который для нас готовила его жена или дочери. Раньше я боялся заходить к нему в дом, потому что после этого мое жилище казалось мне таким пустым. И Боутон это видел, он все понимал.

У него было четыре дочери и четыре сына – шумные маленькие варвары, причем абсолютно все, как говорил он сам. Но счастье не бывает безоблачным, и за целую вереницу лет и в этой семье случались большие

беды. И все же довольно долго его семья казалась мне ослепительно прекрасной. Так оно и было в действительности.

Здесь, у меня на кухне, мы проводили чудесные вечера. Боутон – непоколебимый пресвитерианин, как будто бывают другие. Так что споры у нас бывали, но не настолько серьезные, чтобы навредить нашим отношениям.

Не думаю, что тогда я испытывал негодование. Это было нечто сродни верности моему собственному пути, как будто мне хотелось сказать: у меня тоже есть жена и тоже есть ребенок. Как будто за обладание этим счастьем я заплатил тем, что потерял его. И мне была невыносима мысль о том, что такая цена слишком высока. Говорят, ребенок ничего не видит, когда он так мал, как была твоя сестра. Но она открыла глаза и посмотрела на меня. Она была такая крошечная. Но когда я держал ее, она открыла глаза. Я знаю, на самом деле она не разглядывала мое лицо. Память может придать событию гораздо больший масштаб, чем в реальности. Но я знаю: она действительно посмотрела мне прямо в глаза. И это было что-то невообразимое. И я рад, что понял это в тот самый момент, ибо сейчас, готовясь покинуть этот мир, я осознаю: нет ничего удивительнее человеческого лица. Мы с Боутоном тоже об этом говорили. Это неким образом связано с воплощением. Ты ощущаешь груз ответственности за ребенка, когда посмотрел на него и подержал его на руках. Любое человеческое лицо – это притязание на твой счет, ибо ты не можешь не осознавать его уникальность, его смелость и одиночество. Но в большей степени это касается лица младенца. Я считаю, что это особое воплощение, более загадочное, чем все остальные. Боутон со мной согласен.

Я ужасно тебя боялся, когда ты был совсем маленький. Я сидел в кресле-качалке, а мама давала мне подержать тебя, и я просто качался и молился, до тех пор пока она не заканчивала дела, мешающие ей заниматься тобой. Еще я напевал тебе гимн «Ступай в темный Гефсиманский сад», пока она не спросила, не знаю ли я песни повеселее. А я даже не осознавал, что пою.

Сегодня утром я пытался думать о небесах, но без особого успеха. Не знаю, почему у меня должно быть хоть какое-то представление о Царстве Небесном. Я никогда не смог бы представить этот мир, если бы не прожил в нем восемь десятков лет. Люди говорят о том, каким чудесным мир кажется детям, и это похоже на правду. Но дети думают, что вырастут и поймут его, а я очень хорошо знаю, что не пойму и не понял бы, даже если бы у меня была дюжина жизней. С каждым днем я убеждаюсь в этом все

больше. Каждое утро я, как Адам, просыпаюсь на небесах, изумляясь сноровке собственных рук и свету, который проникает в мой рассудок через глаза. Старые руки, старые глаза, старый рассудок, да и вообще бледная копия Адама, и все равно это изумительно. Что от меня настоящего останется при мне? Что ж, это старое тело было хорошим компаньоном. Как Валаамова ослица, оно видело ангела, которого не видел я, и он уже пролагает мне путь.

Должен сказать, что рассудок мой, несмотря на все его недостатки, разумеется, поддерживал во мне интерес. В нем много поэзии, как я понял за долгие годы, вполне приличный словарный запас, который по большей части не используется. И Слово Божие. Я никогда не знал его, как знал мой отец или его отец. Но я знаю его довольно хорошо. И это закономерно. Когда я был еще младше, чем ты сейчас, отец давал мне по пенни всякий раз, когда я заучивал пару стихов и мог повторить их без ошибки. А потом мы играли в игру: он читал один стих, а я должен был прочитать наизусть следующий. Мы могли продолжать так довольно долго, пока не доходили до родословной или просто уставали. Иногда мы разделяли роли: он был Моисей, а я – фараон, он говорил за фарисеев, а я – за Господа. Его воспитывали так же, и мне это очень помогло, когда я отправился в семинарию. Да и в жизни вообще-то пригодилось.

Ты знаешь «Отче наш» и Двадцать третий псалом, а также Сотый псалом. И я слышал, как вчера вечером мама учила тебя Заповедям. Похоже, ей хочется, чтобы я знал: она вырастит тебя человеком верующим, и с ее стороны это удивительно смелое решение. Честно говоря, я в жизни не встречал человека, менее осведомленного в вопросах религии, чем она, когда с ней познакомился. Замечательная женщина, но совершенно не образованная в части Священного Писания, как и многого другого, если верить ей самой и, вероятно, это правда. И я говорю это с доподлинным уважением.

И все же в ней всегда была эта удивительная серьезность. Впервые придя в церковь, она села в углу в задней части святылища, а мне все равно казалось, как будто из всех только она меня слушает. Однажды мне приснилось, будто я проповедую самому Иисусу и говорю все глупости, которые мне приходят на ум, а Он сидит там в белом-белом одеянии и терпеливо ждет, взирая на меня с грустью и изумлением. Именно такое возникало ощущение. Потом я думал: все, мне конец, она никогда не вернется, а в следующее воскресенье она появлялась снова. И снова служба, к которой я готовился целую неделю, проходила из рук вон плохо. Это было еще до того, как я узнал ее имя.

Сегодня утром у меня состоялся интересный разговор с мистером Шмидтом, отцом Т. Похоже, последний подхватил где-то пару нехороших слов. На самом деле я тоже их слышал, потому что вы оба только на эту тему и шутили последнюю неделю. Признаю: я не видел причин для беспокойства. Мы в детстве говорили то же самое, и нам это сходило с рук, я полагаю. Один из вас произносит нараспев наивным голоском: «ВДШТ золотую рыбку?» А другой отвечает самым низким тоном, который только может изобразить, и в голосе его сквозят злость и презрение: «ЧРТС2 тут золотая рыбка!»^[11] А потом раздается неистовый бе-зудержный хохот. (Должен сказать, больше всего мистера Шмидта беспокоили ЧРТ.) Этот молодой человек был настроен весьма серьезно, и я с трудом сдерживался от смеха, когда слушал его. Я с мрачным видом сообщил, что по опыту знаю: лучше не пытаться изолировать детей строжайшим образом, ибо запрет теряет силу, если налагается на все и вся. Наконец, он уступил, поддавшись авторитету моих седин и призвания, хотя и спросил пару раз, не унитарий ли я.

Я рассказал об этом Боутону, а он заявил: «Я уже давно думаю, что эти буквы надо исключить из алфавита». Потом он рассмеялся, сам себе забавляясь. Он был в приподнятом расположении духа, с тех пор как пришли вести от Джека. «Скоро он будет *дома*», – говорил он. Когда я поинтересовался, откуда прислано письмо, Боутон сказал: «Ну, судя по почтовой отметке, – из Сент-Луиса».

Я не стану рассказывать маме о нашем разговоре с мистером Шмидтом. Она очень хочет, чтобы ты сохранил эту дружбу. Она переживала, когда ты ни с кем не общался. Она переживает за тебя гораздо сильнее, чем следовало бы. Она вечно воображает, как будто это она во всем виновата, хотя мне кажется, что ничьей вины в этом нет.

На днях она сказала мне, что хочет почитать старые проповеди, которые скопились на чердаке, и, думаю, она так и поступит, я правда так думаю. Не все – на это ушли бы годы. Что ж, наверное, лучше спустить одну коробку вниз и разобрать их. Я немного успокоился бы, почувствовав, что оставляю после себя более положительное впечатление. Как часто уже на кафедре, произнося слова, я осознавал, как сильно они расходятся с надеждами, которые я возлагал на них. А ведь речи были главным делом моей жизни, с определенной точкой зрения. Удивительно, как я с этим жил.

Сегодня я проводил причастие и произносил проповедь по Евангелию

от Марка, четырнадцатая глава, стих двадцать второй: «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое». Обычно я не ссылаюсь на Слово Божие, когда его суть гораздо лучше передается в самом таинстве причастия. Но в последнее время я много думал о Теле. Благословенном и Преломленном. Я обратился к Книге Бытия, глава тридцать вторая, стихи с двадцать третьего по тридцать второй, в соответствии с текстом Ветхого Завета, где Иаков боролся с Богом. Я хотел рассказать о даре в виде отдельной физической сущности и о том, как благословение и таинство причастия осуществляются через нее. В последнее время я много думал о том, как сильно люблю жизнь физическую.

Как бы там ни было, быть может, ты это помнишь: когда почти все ушли, а святые дары еще лежали на столе и горели свечи, мама пронесла тебя по коридору ко мне и сказала: «Ты должен и ему дать». Конечно, ты еще слишком мал, но она была абсолютно права. Тело Христово, преломленное для тебя. Кровь Христова, пролитая за тебя. Твое серьезное и прекрасное детское лицо поднялось ко мне, чтобы прикоснуться к этим величайшим тайнам, которые я держал в руках. И это самые чудесные тайны – Тело и Кровь.

Это было удивительное событие, которое могло вообще не случиться. Теперь я боюсь лишь одного: у меня недостаточно времени, чтобы насладиться воспоминаниями о нем.

Сегодня утром свет изумительным образом залил помещение, как это часто бывает. Это обычная старая церковь, и ей не повредил бы новый слой краски. Но в темные времена я приходил туда до рассвета лишь для того, чтобы посидеть и полюбоваться тем, как свет украшает придел. Не знаю, может ли это зрелище показаться прекрасным кому-то еще. Я ощущал такое умиротворение в те дни, хотя молился о самом страшном – о Великой депрессии, о войнах. Местных людей много десятков лет окружал ореол страданий. Но молитва приносит успокоение, как, смею надеяться, известно и тебе.

В эти дни, как я уже говорил, я мог провести за чтением большую часть ночи. Потом, если я просыпался в кресле, а на часах было четыре или пять, я думал, как же приятно пройтись по улицам в темноте, зайти в церковь и наблюдать за рассветом в святилище. Мне нравился звук, с которым открывалась щеколда. В здании царило уединение, так что, когда ты шел по коридору, слышалось, как он прогибается под бременем твоего веса. Это более приятный звук, чем эхо, обязывающий и успокаивающий. Нужно находиться там одному, чтобы его услышать. Хотя, быть может,

удастся это сделать и в обществе ребенка, ведь он весит так мало. Если церковь еще стоит на месте, когда ты будешь это читать, и ты не уехал отсюда за тысячи миль, сходи туда как-нибудь в одиночестве – и ты поймешь, что я имею в виду. Через какое-то время я начал недоумевать, не нравится ли мне церковь больше, когда внутри пусто.

Я знаю, ее планируют снести. И ждут только того момента, когда я освобожу ее, что довольно мило с их стороны.

Ночью всегда бодрствуют люди, дети которых мучаются коликами или болеют, или те люди, которые борются с собой или переживают из-за чувства вины. А еще, разумеется, молочники и все те, кто работает в раннюю или позднюю смену. Порой, проходя мимо дома какой-нибудь семьи из числа моих прихожан и видя в окнах свет, я думал, что, быть может, стоит остановиться и проверить, не случилось ли у них чего и не требуется ли им помощь. Но потом мне приходило на ум, что это будет слишком навязчиво, и я шел мимо. Как и мимо дома Боутонов. Лишь много лет спустя я узнал, что на самом деле их беспокоило, хотя мы всегда были близки. Именно по ночам я не спал, да и читать не хотелось, поэтому я прогуливался по городку в два или три часа ночи. Тогда я мог пройтись по всем улочкам, мимо каждого дома примерно за час. Я пытался вспомнить людей, которые жили в этих домах, и все, что я знаю о них, – в большинстве случаев довольно много, поскольку те, кто не входил в мою паству, были прихожанами Боутона. И я молился за них. И представлял умиротворение на их лицах, на которое они не рассчитывали, и переживания из-за обрушившейся болезни или борьбу с ночными кошмарами. Потом я шел в церковь, и молился еще немного, и ждал, пока наступит день. Часто я испытывал сожаление, когда ночь сменялась утром, хотя мне и нравилось наблюдать, как наступает рассвет.

Деревья ночью звучат по-другому и пахнут иначе.

Если ты меня хоть немного помнишь, возможно, тебе будет легче меня понять благодаря тому, что я сейчас рассказываю тебе. Если бы ты мог увидеть меня не глазами ребенка, а как взрослый человек, ты, разумеется, различил бы во мне натуру, склонную к ночным скитаниям. Надеюсь, что, читая эти строки, ты поймешь: когда я говорю о долгой ночи, предшествовавшей моим счастливым дням, то чаще вспоминаю не горе и одиночество, а умиротворение и покой. Горе не без утешения, одиночество не без умиротворения. Они почти всегда шли рука об руку.

Однажды мы с Боутоном провели целый вечер, просматривая тексты, и,

когда закончили обсуждать их, я проводил его до дома. Я в жизни не видел столько светлячков: они тысячами вылетали из травы, вспыхивая в воздухе. Мы довольно долго сидели на ступеньках в темноте и в тишине и наблюдали за ними. Наконец Боутон сказал: «Человек рождается для мирских сует, равно как и искры летят вверх». И на самом деле это была именно такая ночь, когда вся земля тлела. Что ж, так оно было и есть до сих пор. Старый огонь найдет себе темное укрытие и приживется в его глубине, как и вся наша планета. Я верю, что при помощи той же метафоры можно описать и отдельного человека. Вероятно, и Галаад тоже. Вероятно, всю цивилизацию. Только ткни – и полетят искры. Не знаю, благословил ли я этими строками светлячков, или светлячки благословили эти строки, или они все вместе благословили нас, избавив от всех злоключений, но с тех пор я сильно люблю и тех, и других.

Недавно звонил Джек Боутон, то есть Джон Эймс Боутон, которого называли в мою честь. Он пока в Сент-Луисе и все еще собирается приехать домой. Глори пришла рассказать мне об этом, взбудораженная и обеспокоенная. Она произнесла: «Папа пришел в восторг, когда услышал его голос». Полагаю, рано или поздно он появится. Не понимаю, как один сын из всех мог вызвать такое разочарование, при том, что он никогда не давал повода возлагать на него большие надежды. Подумать только, ведь ему хорошо за тридцать. Нет, сейчас ему, должно быть, уже сорок. Он не самый старший, и не самый младший, и не самый лучший, и не самый храбрый, зато самый любимый. Полагаю, я и о нем могу поведать тебе одну историю, но в том объеме, который будет в рамках приличия. Как-нибудь в другой раз. Сначала я должен поразмыслить над этим. Поскольку у меня почти не было возможности поговорить с ним, я мог бы решить, что все несчастья давно забыты, и ничего об этом не писать.

Старый Боутон так хотел его увидеть. Быть может, он волновался так же сильно, как жаждал встречи. Он воспитал замечательных детей, и все же казалось, что именно ему он отдал свое сердце. Заблудшая овца, оброненная монета. Расточительный сын, если это не слишком изящно сказано. На протяжении всей моей взрослой жизни я по крайней мере раз в неделю говорил, что любовь Отца нашего никак не соответствует тому, чего мы заслуживаем. И все же, когда вижу то же несоответствие в миру между родителями и детьми, я всегда немного раздражаюсь. (Я знаю, ты будешь хорошим человеком, и надеюсь, что ты уже им стал, хотя все равно буду любить тебя безгранично, если нет.)

Сегодня утром я сделал одну глупость. Я проснулся в темноте, и мне захотелось прогуляться к церкви, как раньше. Я оставил записку, и твоя мать нашла ее, поэтому все обернулось не так плохо, как могло бы, я полагаю. (Мысль о записке пришла довольно поздно, я признаю.) Видимо, она подумала, что я ушел в одиночестве в последний раз глотнуть свежего воздуха. По мне, так это неплохая мысль. Я испытывал беспокойство в последние часы. Из-за того, что знаешь ты, но не знаю я – как все закончится. То есть как закончилась моя жизнь в твоих глазах. Это сильно тревожит твою мать, да и меня тоже. И мне приходится нелегко, памятуя о том, что я не могу доверять своему телу, полагая, что оно не подведет меня внезапно. Зачастую я чувствую себя не так уж плохо. Боли посещают меня достаточно редко, чтобы я периодически мог забывать о них.

Врач сказал мне, что нужно осторожно вставать со стула. Еще он запретил мне подниматься по лестнице, а это означало бы, что я должен отказаться от работы в кабинете. Я не могу заставить себя это сделать. Еще он посоветовал выпивать мне по глотку бренди каждый день, что я и делаю по утрам, стоя в кладовой с задернутыми ради твоего блага шторами. Твоя мама думает, что это очень смешно. Она говорит: «Было бы куда полезнее, если бы ты испытывал хоть какое-то удовольствие». Но так пила моя мать, а я привержен традициям. В последний раз, когда мама водила тебя к врачу, он сказал, что ты был бы здоровее, если бы тебе удалили миндалины. Она пришла домой такая расстроенная, из-за того что врач нашел, к чему придраться, что я выдал ей дозу моего лечебного бренди.

Она хочет перенести мои книги вниз, в гостиную, и обустроить для меня место там. И, быть может, я соглашусь, чтобы она не нервничала. Я сказал ей, что не могу добавить и минуты к отведенному мне сроку, а она ответила: «Что ж, я не хочу, чтобы ты отнимал эти минуты». Год назад она сказала бы «не хочу, чтобы ты не отнимал». Мне всегда нравилось, как она говорит, но она думает, что ей нужно совершенствоваться ради твоего блага.

Я подошел к церкви в темноте, как уже говорил. На небе сияла яркая луна. Странно, что человек никогда не может привыкнуть к ночному миру. Я видел лунный свет такой силы, что предметы начинали отбрасывать тени. А еще ветер – тот самый ветер, который шуршит меж листьями ночью и днем. Когда я был еще мальчиком, то вставал до рассвета, чтобы принести в дом воды и дров. Тогда у меня была совсем другая жизнь. Я помню, как ступал во тьму и мне казалось, что тьма – это огромное прохладное море, а дома, сарай и леса дрейфуют на его поверхности и вот-вот сорвутся с опор. Я всегда чувствовал себя как незваный гость и чувствую до сих пор, как будто тьма имеет власть над всем и я потревожил ее лишь тем, что переступил порог. Сегодня утром мир в лунном свете напомнил мне давнего знакомого, с которым я всегда собирался подружиться. Если у меня и был такой шанс, я его упустил. Как ни странно, по отношению к самому себе я испытываю примерно те же ощущения.

Как бы там ни было, я почувствовал острую необходимость дойти до церкви, отпереть дверь и посидеть там в темноте, пока не наступит рассвет. Желание было настолько сильным, что я забыл, как сильно могу расстроить твою мать. На самом деле в последнее время я с трудом удерживаю в голове мысль о том, насколько я смертен. Меня посещают боли, как я говорил, но они не настолько частые и мучительные, так что я

не тревожусь по этому поводу, как следовало бы.

Мне нужно научиться более осознанно относиться к своему состоянию. Я на днях попытался взять тебя на руки, как делал раньше, когда ты был не такой большой, а я – не такой старый. Потом увидел, что твоя мать смотрит на меня с явным осуждением, и понял, как глупо поступил. Просто мне всегда нравилось ощущать, как крепко ты за меня держишься, словно обезьянка за дерево. Мальчишеская худощавость и мальчишеская сила.

Но я немного отклонился от темы, то есть от твоей родословной. А я еще много должен тебе рассказать. Мой дед служил в союзных войсках, как, думаю, я уже говорил. Он хотел отправиться на войну рядовым, но ему сказали, что он слишком стар. Ему сообщили, что в Айове есть седобородый полк, специально для стариков, которые не участвовали в боевых действиях, а охраняли припасы, железнодорожные пути и так далее. Эта перспектива его не порадовала. Наконец ему удалось уговорить их взять его на должность армейского капеллана. Он не взял с собой документов, подтверждающих его знания и сан, но отец рассказывал, что дед показал им Новый Завет на греческом и этого оказалось более чем достаточно. Эта книга до сих пор у меня где-то лежит, точнее то, что от нее осталось. Она упала в реку, как мне поведали, и к тому моменту, как высохла, уже была основательно испорчена. Если я все помню правильно, книгу выловили из воды в ходе неорганизованного отступления. Это та самая Библия, которую прислали моему отцу из Канзаса, после чего мы отправились на поиски могилы старика.

Мой отец родился в Канзасе, как и я, потому что старик приехал туда из штата Мэн, чтобы помочь сторонникам «свободных земель» реализовать право на голосование. Тогда как раз проводилось голосование по поводу документа, который определял, войдет ли Канзас в Рабовладельческий союз или будет свободным. Довольно много людей приехали в Канзас по той же причине. Разумеется, прибыли люди и из Миссури, которые хотели, чтобы Канзас присоединился к Югу. Так что на какое-то время все вышло из-под контроля. Лучше о таком и не вспоминать, как говорил отец. Он не любил распространяться о тех временах, и они часто ругались с дедом по этому поводу. Я много читал об упомянутых событиях и решил, что отец был прав. Тем более что люди тоже обо всем забыли. Удивительные происшествия продолжались, разумеется, но с тех пор в мире было так много несчастий, что мне сложно найти время на размышления о Канзасе.

Мы переехали в этот дом, когда я был еще маленьким мальчиком. Долгие годы мы жили без электричества, при керосиновых лампах. Никакого радио. Я вспоминал, как моя мать любила кухню. Разумеется, тогда она выглядела иначе – вантуз, старый кухонный шкаф и печка-буржуйка. Остались тут, пожалуй, только старый стол и кладовая. Мать придвигала кресло-качалку так близко к печке, что могла открывать дверцу, не вставая. Она говорила, что так у нее ничего не подгорит. Она утверждала, что мы не можем позволить себе попусту переводить продукты, и здесь она не ошибалась. Как бы там ни было, у нее довольно часто подгорали блюда, по мере того как шли годы, это случалось все чаще, но мы все равно их съедали, так что напрасно продукты не переводились. Ей нравилось тепло очага, но оно усыпляло ее, особенно если до этого она стирала или закрывала банки с домашними консервами. Упокой Господь ее душу, ибо ее мучили и люмбаго, и ревматизм, и она могла выпить виски, чтобы унять боль. Мать всегда плохо спала по ночам. Видимо, я унаследовал это от нее. Она тут же поднималась, если чихала кошка, как она говорила, но при этом могла проспять ритуальное сожжение целого воскресного ужина, которое происходило всего в двух футах от нее. Точнее, это происходило в субботу, потому что наша семья строго соблюдала традицию воскресного отдыха. Итак, мы уже за день знали, чего следует предвкушать. Особенно хорошо я помню обу-гленные бобы и подгоревшее яблочное пюре.

Твоя мама изумилась, когда я впервые сказал ей, что необязательно гладить белье в воскресенье вечером. Самая сложная задача для нее – это прекратить хлопотать по дому, поэтому не уверен, что мои призывы отдохнуть хоть один денек возымели какое-то действие. Тем не менее она хочет знать обычаи и принимает их близко к сердцу, Господь все видит. Она с таким облегчением обнаружила, что учеба работой не считается. Хотя я никогда так и не думал. И теперь она сидит за обеденным столом и переписывает стихи и фразы, которые ей нравятся, и самые разные факты. Главным образом она делает это для тебя. Все потому, что я покину вас и лишь она одна будет подавать тебе пример. Она сказала: «Ты должен показать мне, какие книги надо читать». И я достал старого Джона Донна, который на протяжении долгого времени действительно много для меня значил. «Заснуть лишь стоит, и навеки мы проснемся / И смерти больше нет, смерть, ты умрешь сама». У Донна есть великолепные строки. Надеюсь, ты их прочитаешь, если еще не прочитал. Твоя мама пытается его полюбить. А я жалею, что не смог позволить себе еще новых книг. В

основном мою библиотеку составляют книги по теологии и кое-какие старые книги о путешествиях еще довоенного времени. Почти уверен: многие сокровища и памятники, о которых я то и дело люблю читать, больше не существуют.

Твоя мать ходит в общественную библиотеку, которая давно уже переживает не лучшие времена, как и другие заведения в округе. В последний раз она принесла затертый до дыр экземпляр «Тропинки одинокой сосны», который не рассыпался лишь потому, что его замотали скотчем. Едва погрузившись в чтение, она увлеклась книгой. И я готовил яичницу и бутерброды с расплавленным сыром на ужин, чтобы ей не приходилось отвлекаться от книги. Я читал ее много лет назад тогда же, когда и все остальные. Не помню, чтобы она сильно меня вдохновила.

Еще маленьким мальчиком я слышал историю об убийстве в наших краях, когда орудие убийства, длинный охотничий нож, по слухам, утопили в реке. Все дети только об этом и говорили. На старого фермера набросились из-за сарая, когда он доил корову. Все знали, что у главного подозреваемого был охотничий нож, потому что он им гордился и всем показывал. Дело дошло до того, что его чуть не повесили, если не ошибаюсь, потому что он не мог показать этот нож и никто не мог его найти. Думали, что он выбросил его в реку. Но его адвокат объяснил, что другой человек – быть может, какой-то чужак – имел возможность украсть его, совершить преступление и выбросить нож в реку или просто скрыться с ним, что казалось вполне правдоподобным. К тому же на всем белом свете такой нож явно был не только у него одного. Да и мотив никто найти не мог. Так что в итоге подозреваемого отпустили.

Потом все недоумевали, кого бояться, и это было ужасно. Человек, которому принадлежал нож, просто уехал. Периодически появлялись слухи, что его видели по соседству, и это могло быть правдой, так как сестра бедняги осталась жить здесь, а в целом мире у него не осталось ни одной близкой души. Обычно слухи распространялись под Рождество.

Я сильно переживал из-за этого, потому что однажды отец взял меня с собой, когда выбрасывал пистолет в реку. У деда осталось оружие, которое он подобрал в Канзасе еще до войны. Уезжая на Запад, он оставил в доме отца старое армейское одеяло – сверток, перевязанный бечевкой. Когда мы узнали, что дед там умер, мы развернули его. Там оказалось несколько старых рубашек, которые когда-то были белыми, несколько дюжин проповедей, кое-какие другие бумаги, тоже перевязанные бечевкой, и

пистолет. Разумеется, меня больше всего интересовал пистолет. И я был намного старше, чем ты сейчас. А вот в моего отца это вселяло отвращение. Вещи, оставленные дедом, оскорбляли его. И он похоронил их.

Яма, которую он выкопал, должно быть, была глубиной фута четыре. Я поразился, каких усилий ему это стоило. Потом он швырнул сверток в яму и принялся забрасывать ее землей. Я спросил, почему он закапывает и проповеди. В то время я, разумеется, думал, что любой текст, написанный от руки, вероятно, представлял собой проповедь, и оказалось, что в этом случае все именно так. Там были и письма. Я это знаю, потому что через час после символического захоронения отец явился и выкопал все назад. Он отложил рубашки и бумаги и закопал пистолет. Потом, через месяц или около того, он достал его и выбросил в реку. Если бы он оставил пистолет в земле, то сейчас он лежал бы под задним забором, быть может, на глубине одного-двух футов.

Мне он ничего не сказал. Хотя произнес: «Да будет так», – когда бросал большой старый пистолет обратно в яму. Потом он дал мне подержать проповеди, пока отряхивал и складывал рубашки. Бумаги он велел мне отнести в дом. Я так и сделал, а отец снова засыпал яму, все утаптывая и утаптывая землю. Примерно через месяц он снова выкопал пистолет, положил его на пень и разломал, как только мог, кувалдой, которую взял взаймы. Обломки он обернул мешковиной, а потом мы вместе направились к реке и прошли довольно много до того места, где обычно рыбачим, и он забросил останки оружия в воду как можно дальше. У меня возникло такое впечатление, что он хотел, чтобы их не существовало в принципе, что он не успокоился бы, даже утопив их в океане, что он достал бы их с любой глубины, если бы знал способ уничтожить окончательно. Это был большой старый пистолет, как я уже говорил, с украшениями на ручке примерно такого вида, как узоры на батареях из кованого железа. Мне кажется, я помню холод и тяжесть, и запах железа, который он оставил у меня на руках. Но я знаю, что на самом деле отец не позволил мне даже прикасаться к нему. В любом случае, думаю, пистолет был сделан из никеля. Откровенно говоря, я считал, что он поучаствовал в каком-то ужасном преступлении, потому что отец никогда не рассказывал мне об истинных причинах ссоры с дедом.

Он прополоскал те две старые рубашки в раковине и повесил их за полы на бельевой веревке матери, прежде чем сжечь, как я полагал. Они были все желтые, в пятнах и выглядели ужасно, а ветер трепал их рукава. Они казались побитыми и униженными, свисая с веревки головой вниз,

если можно так выразиться. Примерно так же подвешивают оленью тушу для разделки. Моя мать вышла и тут же их сняла. В те времена женщины гордились тем, как выглядит свежевывстиранное белье на веревке, особенно белое. Это стоило больших усилий. Моя мама и мечтать не смела об электрическом приборе для отжима или взбивания мыла. Он дочиста оттирала белье на стиральной доске. После этого оно становилось таким красивым и белым. Это воистину выглядело замечательно. И это по понедельникам делали все женщины на всем белом свете. Когда впервые стали подавать электричество, они пользовались им до рассвета и во время ужина, чтобы облегчить домашние дела, и включали еще на пару часов в понедельник, чтобы справиться со стиркой.

Что ж, мать просто не могла вынести вид этих жалких рубашек. Она была твердо убеждена, что большая часть местных жителей судит ее по тому, что появляется у нее на бельевой веревке, и я не могу утверждать, что она заблуждалась. Однако дело было не только в этом. Отец больше всего любил эти строки из Священного Писания: «Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровию, будут отданы на сожжение, в пищу огню». Это Книга пророка Исаяи, глава девятая, стих пятый. Моя мать, должно быть, почувствовала, будто знает, что он собирается сделать, и узрела в этом некую непочтительность. Как бы там ни было, она сняла эти рубашки, оттерла их, замочила на ночь, отбелила и прополоскала с синькой, так что в итоге они приняли приличный вид. Осталось лишь несколько черных пятен, которые, по ее словам, были индийскими чернилами, и пара коричневых пятен от крови. Она повесила рубашки под аркой из виноградной лозы, где никто не мог их увидеть. Потом она принесла их и выгладила с невероятным старанием, напевая, а когда закончила, они выглядели настолько достойно, насколько позволяли пятна и боевые раны. Потом она сложила их – они были такие белые и чистые, что походили на мраморные бюсты, – затолкала в мешок из-под муки и похоронила у забора под розами. Мои родители не всегда приходили к единому мнению.

Нужно покопаться там и взглянуть, осталось ли что-то от этих рубашек. Жаль, если когда-нибудь они разложатся, как обычный мусор, после таких трудов. Лично я думаю, было бы лучше сжечь их.

Однажды я набрался смелости и спросил отца, не совершил ли дед какой-то плохой поступок, и он ответил: «Это решит милостивый Господь». И я пришел к мысли, что он наверняка совершил какое-то преступление. Где-то в доме есть фотография деда, сделанная уже в

старости, она могла бы помочь тебе понять, почему я так думал. На этом снимке он очень похож на себя настоящего. На фото навечно застыл одноглазый костлявый старик с всклокоченными волосами и кривой бородой, похожей на кисть, которую так и оставили засыхать, не очистив от лака. Дед презрительно смотрит в объектив, как будто его внезапно обвинили в чем-то ужасном и он еще размышляет, как ответить. При этом он отмечает вопрос одним лишь свирепым взглядом. Разумеется, нужно испытывать чувство вины в земной жизни, чтобы смотреть подобным образом.

В общем, я был предрасположен верить, что дед совершил нечто ужасное, а отец скрывал доказательства, и я тоже был посвящен в эту тайну, вовлечен, не зная о том, во что именно вовлечен. Что ж, это обычное состояние для человека, полагаю. Я считаю, что был вовлечен, и продолжаю так считать, и считал бы, даже если бы никогда не видел этого пистолета. Я по опыту знаю, что вина может прорваться через малейшее нарушение, и заполнить весь пейзаж, и поселиться в прудах и болотах, ибо она подобна воде. Я полагаю, отец до известной степени пытался прикрыть грехи Каина. Событие, имевшее место в Канзасе, скрывалось за всем этим, как мне было известно в то время.

После того как убили того фермера, все дети, которых я знал, стали бояться доить коров. Они делали это, заставляя корову становиться между собой и дверью, если корова благоволила слушаться. Но коровы щепетильны в таких мелочах и часто не подчинялись. Младших сестер, братьев и собак выставляли у коровника в темноте, чтобы выслеживать незнакомцев. Это продолжалось годами, история передавалась из уст в уста новым поколениям, до тех пор, пока убийца, кто бы он ни был, не состарился. Моему отцу пришлось взять на себя обязанность доить корову, потому что брат слишком торопился, облегчая вымя, и корова стала давать меньше молока. Потом пошли слухи, как будто кто-то прятался в курятнике, и дети стали бояться собирать яйца и не замечали их или разбивали, потому что торопились. Потом кого-то заметили в сарае для дров, в погребе и на чердаке. Удивительно, как изменилось это место и как настойчиво слухи циркулировали среди детей, особенно маленьких, которые не помнили, как все было до убийства, и думали, что бояться естественно. В те дни домашние обязанности действительно много значили, и если каждая ферма в трех-четырех округах теряла по пинте молока и паре яиц через день на протяжении двадцати лет, то, можно сказать, эти лишения были весьма существенны. Не знаю, быть может, дети до сих пор слышат эту старую историю и боятся выполнять домашние

обязанности, продолжая подрывать местное благоденствие.

Любой из нас пулей вылетал из сарая или коровника, когда мелькала хоть какая-то тень или слышался топот, так что слухи плодились и множились. Я помню, Луиза как-то сказала, что нам стоит помолиться о том, чтобы этот человек встал на путь истинный. Она полагала, лучше обратиться к корню проблемы, нежели молиться о чудесном спасении каждого из нас в случае возможной опасности. А еще это должно было защитить людей, которые никогда о нем не слышали и не подумали о том, чтобы помолиться, перед тем как подоить корову. Это предложение показалось нам по-взрослому разумным, и мы на самом деле все вместе помолились за него, а вот насколько успешно – одному Богу известно. Но если ты или Тобиас услышите эту историю, могу обе-щать: этому извергу уже около ста лет и он больше не представляет угрозы для кого бы то ни было.

Я все же знал кое-что о рубашках и пистолете из-за ссоры, которая случилась у деда с отцом. Мой дед, который, разумеется, ходил в церковь вместе с нами, встал и вышел через пять минут после начала проповеди отца и произнес, как я помню, такие слова: «Подумай о лилиях и как они растут»^[12]. Мама отправила меня за ним. Я увидел, как он шагает по дороге, и побежал, чтобы вернуть его. А он посмотрел на меня единственным глазом и сказал: «Возвращайся туда, где твое место». Так я и поступил.

Он пришел домой после ужина, прошел на кухню, где мы с мамой убрали со стола, отрезал себе кусок хлеба и снова собирался уйти, не сказав нам ни единого слова. Но в тот самый момент отец поднялся по лестнице на веранду и встал в проходе, наблюдая за ним.

– Ваше преподобие, – произнес дед, когда его увидел.

Мой отец ответил:

– Ваше преподобие.

Мама встала:

– Сегодня воскресенье. День Господа Бога нашего. Время отдыха.

Отец сказал:

– Нам всем это прекрасно известно.

Дверной проем он так и не освободил. И мама обратилась к деду:

– Садитесь, и я подам вам еду. Одним куском хлеба сыт не будешь.

И он все-таки сел. А мой отец вошел и сел напротив него. Какое-то время они молчали.

Потом отец поинтересовался:

– Моя проповедь как-то оскорбила вас? Определенные слова, которые вы слышали?

Старик пожал плечами:

– Тут не на что обижаться. Просто мне хотелось послушать настоящего *проповедника*. И я отправился в негритянскую церковь.

Через минуту отец спросил:

– И что, удалось его послушать?

Дед снова пожал плечами:

– Тема была такая – «Возлюби врагов своих».

– Прекрасная тема при таких обстоятельствах, – сказал отец. Это произошло как раз после поджога церкви, о котором я уже упоминал.

Старик заметил:

– Очень по-христиански.

Отец сказал:

– Такое впечатление, что вы разочарованы, преподобный.

Дед накрыл голову руками и произнес:

– Преподобный, у меня слов не хватит описать всю горечь, даже самый долгий день не приносит успокоения. Этому нет конца. Разочарование. Я ем его и пью его. Я просыпаюсь с ним и засыпаю тоже с ним.

Губы у отца побелели. Он произнес:

– Что ж, ваше преподобие, я знаю, какие надежды вы возлагали на эту войну. Я возлагаю надежды только на мир, и я не разочарован. Ибо мир сам по себе награда. Мир есть оправдание самого себя.

Дед сказал:

– Вот что меня убивает, преподобный. Господь так и не снизошел к вам. Крылатый серафим так и не коснулся губ ваших углем.

Отец поднялся со стула со словами:

– Я помню тот день, когда вы вошли на кафедру в простреленной окровавленной рубашке с пистолетом, заткнутым за пояс. И меня посетила мысль – властная и ясная, как откровение. И звучала она так: «Это не имеет никакого отношения к Иисусу. Никакого. Никакого». И я уверен в этом, и был уверен тогда настолько, насколько можно быть уверенным в том, что тебя посетило видение. И тут я никому не подчинюсь. Ни вам, ни апостолу Павлу, ни Иоанну Богослову, ваше преподобие.

А дед произнес:

– Так называемое видение... Господь, стоявший подле меня, сто раз сохранял для меня реальность, в которой вы сейчас находитесь!

Через минуту отец ответил:

– В этом сомневаться не приходится, преподобный.

Тогда и разверзлась пропасть. Вскоре после этого дед ушел. Он оставил на кухонном столе записку, в которой говорилось:

«Добро к нам не пришло, и зло не победили.

Вот он, ваш мир.

И без видений погибают люди.

Благослови и сохрани вас Бог».

Эта записка до сих пор хранится у меня. Она лежит между страниц моей Библии.

Но я смотрел, как неистово отец читает проповедь о крови Авеля, и недоумевал, как ему это удастся. Я очень уважал отца. Я был уверен, что он должен скрыть грехи собственного отца, а я – скрыть свои грехи. Я пылал к нему самой странной, самой несчастной страстью, когда он стоял там и рассказывал, как Господь ненавидит притворство, и подчеркивал, что в конце концов все наши поступки предстанут в изобличающем свете истины.

Со временем я узнал, что дед приложил руку к насилию, которое творилось в Канзасе до войны. Как я уже говорил, они пришли к компромиссу и договорились никогда больше не говорить о Канзасе. Поэтому, полагаю, отец с невероятным отвращением обнаружил, что такие «памятные вещицы», если можно так выразиться, хранились в его доме. Это было еще до того, как он отправился в Канзас на поиски могилы старика. Думаю, сам отец понимал: единственное, в чем ему следовало раскаяться, – это яростный гнев на деда.

Но мой отец действительно ненавидел войну. Он чуть не умер в 1914 году от пневмонии, как говорили доктора, но я не сомневаюсь, что на самом деле он чуть не погиб от ярости и разочарования. В Европе шли бурные празднования в связи с началом войны, как будто должно было произойти нечто прекрасное. Да и здесь увеселительные мероприятия проводились в непосредственной близости от нас. Парады и марширующие отряды. И мы уже знали, на какое страшное дело посылаем наших солдат. Я на протяжении четырех лет не мог читать газеты, не жалея отца. Он видел эти ужасы в Канзасе, а потом его отец ушел в армию. И он тоже – прямо перед концом войны. У него было четыре сестры и младший брат, а их мать сильно хворала. Она умерла молодой, когда ей не было и сорока, так что дети остались предоставлены сами себе, отцу и добрейшим душам из паствы, точнее, тому, что от нее осталось. Его брат, мой дядя Эдвардс, сбежал, или так они надеялись. По крайней мере, он исчез, и в те смутные времена его так и не удалось найти. Его называли в честь теолога Джонатана Эдвардса, который пользовался большим уважением среди представителей

поколения моего отца. А Эдварда называли в честь дяди, так что в конце имени у него была буква «с», но ему не нравился такой вариант, и он избавился от надоедливой буквы, когда уехал учиться в колледж.

Глори пришла и сказала, что Джек Боутон уже дома. Как раз сегодня вечером он ужинает у отца. Он зайдет навестить меня на днях, пояснила она. Я благодарен ей за предупреждение. За это время я успею подготовиться. Боутон назвал его в мою честь, потому что думал, будто у него не будет больше сыновей, а у меня вообще не будет ребенка. Это очень мило с его стороны. Так получилось, что через четырнадцать месяцев Господь благословил его, подарив еще одного мальчика – Теодора Дуайта Уэльда Боутона, который получил степень в медицине и звание доктора наук в теологии и управляет больницей для малоимущих где-то в Миссисипи. Он настоящая гордость семьи. Джек как-то заявил: он очень рад тому, что из всех членов семьи не только его упоминали в газетах. Довольно горькая шутка, если принять во внимание, как его родители переживали позор, который он им принес. Для них это было тем более тяжелее, потому что в газетах всегда пишут полное имя. А оно звучало как «Джон Эймс Боутон».

Пока мы, заблудившись, бродили по Канзасу, отец рассказывал мне много интересного, отчасти для того, чтобы убить время, полагаю, отчасти – чтобы объяснить, почему, как ему казалось, его отец приехал туда и для чего нам нужно найти его, точнее, его могилу. Мой отец говорил, что в те дни, вернувшись с войны, он часто встречался с квакерами по воскресеньям. Он рассказывал, что церковь его отца наполовину опустела и большинство прихожан были вдовами, сиротами и матерями, потерявшими сыновей. Вернувшиеся солдаты привезли с фронта болезни – «фронтную лихорадку», как ее называли в народе, которая косила целые семьи. Некоторые мужчины воевали в Андерсонвилле и возвратились домой, чудом избежав смерти. Отец говорил, половина могил в церковном дворе были свежими. И его отец каждое воскресенье проповедовал о том, как божественная справедливость нашла проявление во всем этом. Старые женщины, по его словам, начинали рыдать, к ним присоединялись дети. Он не мог этого выносить.

Разумеется, я пытался вообразить себя на месте деда. Не знаю, что еще он мог говорить и что еще почитал за истину. Проповедуя, он в самом деле призывал молодых людей идти на войну. А ведь его церковь сильно пострадала. Парни из его паствы ушли на фронт в самом начале и

оставались там до конца, так что конфедераты выпустили в них много пуль. Он тоже ушел с ними, хотя ему было хорошо за сорок. И он потерял глаз, а когда вернулся, все уже зажило, как и должно было быть. Он так привык к отсутствию глаза, что забыл сообщить об этом семье. Такое случилось сплошь и рядом: у многих после войны оставались следы от ранений или шрамы. Многие люди пережили ампутацию конечностей. Когда я был маленьким, я видел много стариков без рук и без ног. Во всяком случае, тогда они казались мне старыми.

То, что дед вернулся к пастве и остался присматривать за вдовами и сиротами, несомненно, было достойным поступком. Методисты занялись основанием собственной церкви. Они купили участок земли у дороги, так что его прихожанам не обязательно было с ним оставаться. И некоторые в самом деле ушли. Я прочитал об этом в проповеди из числа тех, что отец похоронил, а потом снова выкопал. В ней говорилось о прелести методистских проповедей и юности нового священника, который хотя и недолго, но с честью служил священником в союзных войсках. Я читал эту проповедь много раз. На другие едва хватило чернил.

Те, кто недавно приехал в наши края, и молодежь переходили к методистам, которые проводили встречи на свежем воздухе у реки. Со всей округи их собирались сотни, они рыбачили, полоскали одежды и общались до позднего вечера. Потом зажигали факелы, священник проповедовал, а ночью распевались гимны. Мой дед тоже туда приходил, и происходящее ему очень нравилось. По воскресеньям он открывал окна и двери, чтобы его прихожане слышали пение с реки. Он уважал методистов, ибо они во многом взяли на себя тяжкое бремя войны. Он считал, что они не из тех людей, которые еще долго будут терпеть епископов.

Подозреваю, он знал, что даже своими проповедями не сможет вдохнуть жизнь в церковь, которая потеряла так много. Он стал человеком, который берется за любую работу, – чинил крыши и веранды, обучал детей, разделывал свиные туши. Он делал все что угодно, ибо его немногочисленной пастве было нечем ему платить. Многие люди могли отблагодарить его за труды лишь курицей для бульона и парой картофелин. По большей части он помогал с делами, которые просто нужно было сделать. В одном хозяйстве он разбираал хворост, в другом – пропалывал огород, «давая скоту пищу его и птенцам ворона», как говорил отец (это из сто сорок шестого псалма). А еще он писал бесчисленные письма в военное министерство, пытаясь выбить для ветеранов и вдов положенные премии и пенсии, которые либо не выплачивали вовсе, либо выплачивали с большой задержкой. В этом была некая ирония, потому что,

как говорил отец, в жизни собственных детей дед в это время почти не присутствовал. Им приходилось очень тяжело, ибо все знали, что мать долго не проживет.

К тому времени мой отец уже вырос, ему было чуть больше двадцати, да и сестры почти превратились в девушек. Они все вполне могли бы управиться с хозяйством, если бы не слабое здоровье матери и ее невыносимые страдания. Полагаю, у нее было что-то вроде рака. В городе был доктор, но он ушел вместе с армией и больше не вернулся. Пал ли он на войне, так никто и не узнал, зато ходили байки, что ему в голову угодил осколок снаряда и после этого он так и не смог восстановиться. Как бы там ни было, в те времена доктора мало чем могли помочь. Они прописывали припарки, масло из печени трески или горчичные пластыри, а еще ставили шины и накладывали швы. И назначали бренди.

Соседки поили мать моего отца чаем из цветков красного клевера, который, по его словам, вероятно, ей не вредил. А еще ей остригли волосы, потому что считалось, как будто они отнимают у нее силы. Она плакала, когда их ей показали, и сказала, что это было единственное в ее жизни, чем она могла гордиться. Отец говорил, боль истощала ее и она становилась сама не своя, но эти слова остались в памяти у него и у ее сестер. В те времена, и даже когда я был маленьким, женщины носили длинные волосы, ибо считали, что так предписывает Библия (Первое послание к Коринфянам, глава одиннадцатая, стих пятнадцатый)^[13]. Но если они заболели, то волосы стригли, и это всегда было печально и в некотором роде постыдно для женщин, наряду со всем тем, что им приходилось выносить. Так что для нее это стало большим ударом. Когда мой отец говорил со своим отцом о ее душевном состоянии, тот отвечал: «Ты вернулся, и я вернулся, и мы оба здоровы, и руки-ноги у нас на месте». Мой отец понимал это так: ее скорбь не больше горя любого другого человека в этой местности, и он не собирался уделять этому особого внимания.

Я верю, что ошибки нашего преподобного старца главным образом объяснялись некой чрезмерной активностью в этических вопросах, которой в итоге следовало восхищаться. За долгие годы его в самом деле посетило много видений, что требовало от него невероятной ответственности, поэтому он не поощрял тех, кто пытался отлынивать от своих дел. Он потерял Новый Завет на греческом в процессе лихорадочного отступления через реку, как я уже говорил. Мне всегда казалось, в этом заложен некий скрытый смысл. Воды никогда не расступались перед ним, ни разу в жизни, насколько мне известно. Трудности не кончались, и легче не

становилось. Хотя, опять же, он сам их искал.

Новый Завет пришел ему по почте много лет спустя из Алабамы. Очевидно, какой-то конфедерат потрудился достать его, а потом выяснил, какую роту какого полка они преследовали в тот день и кто был у них священником. Быть может, в этом поступке и была насмешка, но дед все равно оценил его по достоинству. Книга была основательно испорчена. Надеюсь, ты хранишь ее до сих пор. Она как раз из тех вещей, которые на первый взгляд не представляют никакой ценности.

Я верю, что представления старика о видениях были слишком узкими. Возможно, он, так сказать, был ослеплен ярчайшим светом собственного опыта, чтобы осознать: некое могущественное солнце светит для всех нас. Вероятно, это единственное, что я хотел бы тебе сказать. Иногда тебе становится очевидно, что провидение подготовило для тебя в конкретный день, только потом, когда вспоминаешь об этом дне или тебе со временем открывается истинный смысл. Например, всякий раз, когда я беру на руки ребенка для совершения таинства крещения, я, так сказать, постигаю бытие более полно, ибо с каждым днем познаю жизнь все больше и понимаю, что это значит – подтвердить священность человеческой природы. Я верю, что есть видения, которые приходят к нам только в виде воспоминаний, в ретроспективе. Да, это похоже на речь с кафедры, но это правда.

Сегодня Джон Эймс Боутон зашел навестить нас. Я сидел на веранде с газетой, а твоя мать занималась цветами, когда он прошел через калитку, поднялся по ступенькам ко мне и, улыбаясь, протянул мне руку. Он произнес: «Как вы, папа?» Так он называл меня в детстве, следуя завету родителей, вероятно. Я предпочитал придерживаться этого мнения. Он излучал скороспелое очарование, если можно так выразиться, и сам едва ли придумал бы такое обращение. Я никогда не чувствовал особой симпатии с его стороны к моей персоне.

И все же меня удивило, насколько он похож на отца. Хотя, разумеется, во всех принципиальных вопросах они далеки друг от друга, как небо и земля. Когда он представился твоей маме, назвавшись Джоном Эймсом Боутоном, она явно удивилась, а он рассмеялся. Он посмотрел на меня и сказал: «Наверное, эта быль мхом еще не поросла, ваше преподобие». Надо же такое сказать! С моей стороны, однако, было неосмотрительно умолчать о том, что это создание, которое ходит по свету, – мой крестный сын, названный в мою честь, ни больше ни меньше. Ты лазил где-то в кустах в поисках Соупи, которая слишком часто исчезает, отправляясь в

самые неизвестные места, и сводит с ума тебя с матерью. Так получилось, что ты как раз выходил из-за дома с нашей старой кошкой под мышкой. Уши у нее были прижаты к голове, в глазах светилась ярость, а хвост извивался. Он такой длинный, что, возможно, ты умудрился на него наступить. Было очевидно, что она сбежит, если ты отпустишь ее, но ты все же отпустил, и она сбежала, а ты, похоже, ничего не заметил, потому что собирался пожать руку Джону Эймсу Боутону. «Как здорово познакомиться с маленьким братишкой», – сказал он, и тебе это очень понравилось.

Я никогда не понимал, почему вы с матерью пребывали в таком восторге от того, что его называли в мою честь. Мне следовало бы предупредить вас о возможных последствиях.

Он поднялся по ступенькам со шляпой в руке, улыбаясь, как будто нас связывала давнишняя забавная история. «Прекрасно выглядите, папа», – заметил он. И я подумал, что после стольких лет он в самом деле мог заявиться ко мне на порог исключительно с лестью. Но в тот момент я как раз пытался подняться с дачных качелей, и это было бы не так сложно, если бы я нашел, за что ухватиться. Подъем из сидячего положения – большая нагрузка для моего сердца, говорит доктор, и я по опыту знаю, что он прав. Я решил, что не стоит умирать или корчиться в припадке на глазах у тебя и у матери, оставив старика Боутона, этого странного чудака, размышлять о неизбежности всего сущего. И вот передо мной стоял Джек Боутон с этим выражением лица и помогал мне вставать, держа за локоть. И, клянусь, у меня было такое ощущение, словно я провалился в яму, настолько он был выше меня, как никогда раньше. Конечно, я понимал, что потерял в росте, но выглядело это в высшей степени нелепо.

Это так странно. В какой-то момент времени я, уважаемый гражданин, в подробностях изучаю политические взгляды сенатора Эстеса Кефопера, пока моя красивая молодая жена занимается цинниями в мягком утреннем свете, а прекрасный сын неловко преследует вечно заблудшую овцу – кошку Соупи, вернув ее на мгновение из небытия и добившись всеобщего ликования. Мухи немного докучали мне, зато свет был ровный и чистый, а в газете нашлось много интересных статей. Разумеется, я сидел в домашних тапочках, спасаясь от артрита, сковавшего пальцы ног. Выдалось почти идеальное утро.

И вот приходит Джек Боутон – точная копия отца в том, что касается внешности, с такими же черными волосами и румянцем на щеках. Ему почти столько же лет, сколько твоей матери. Я помню мгновение, когда она подняла ко мне свое милое лицо при крещении, в зимнем утреннем

свете, в мерцании свежего снега. И я подумал: она не стара и не молода, и почему-то испытал такое потрясение от ее внешности, что едва заставил себя брызнуть водой ей на лоб, ибо она была больше, чем просто красива. Отчасти виной всему была грусть. Так что она помолодела за годы, причем благодаря тебе. Но я никогда не видел ее такой молодой, как в то утро.

Что ж, солнце светило, она сидела в саду, а ты, босоногий, бегал вокруг без рубашки, весь покрытый веснушками. Твоя мама привязала к веревке кусок сосиски, а веревку прикрепил к палочке, чтобы тебе было проще заманить Соупи. Она называла эту конструкцию «кошачий жезл», а ты как раз любишь все эти забавные глупости. Так ты все утро провел, гоня кошку по кустам и по дому, пока я читал об избирательной кампании. Самое приятное в последние дни заключается в том, что я замечаю каждую мелочь, смакую одну минуту за другой. И все казалось прекрасным, пока этот Джек Боутон не принялся поднимать меня на ноги. Потом я заметил, какие выражения отпечатались на ваших лицах, и дело явно было не в том, что мы с ним так разительно отличались друг от друга, стоя рядом. Вы давно уже знали, что я стар. Я до сих пор толком не понимаю, что именно увидел, но не собираюсь больше думать об этом. Это мне не понравилось.

На кофе он не остался. Все прошло довольно неплохо. Вскоре он ушел.

Если доживу, то проголосую за Эйзенхауэра.

Как жаль, что ты не видел меня в расцвете сил.

Я говорил о видениях. Помню, как-то раз, еще в детстве, отец помогал разбирать сгоревшую церковь. Молния ударила в колокольню, и та обрушилась на здание. В тот день, когда мы пришли разбирать ее, шел дождь. Кафедра не пострадала и так и стояла под дождем, а вот скамьи почти все сгорели дотла. Многие благодарили Господа за то, что это случилось в полночь во вторник. Выдался теплый день, да и дождь шел теплый, и, хотя укрыться было негде, никто не обращал на дождь особого внимания. Помочь пришли самые разные люди. Это напоминало встречу друзей за пикником. Лошадей распрягли, и те, кто помладше, вроде меня, лежали на старом стеганом одеяле под телегой, которую убрали с дороги, болтали, играли в шарики и наблюдали, как старшие мальчики и мужчины ходят по развалинам, выискивая Библии и сборники гимнов. Они пели, и все мы пели «Благословенный Иисус» и «Старый крест», а ветер дул с такой силой, что капли дождя добрались даже туда, где лежали мы. И эти капли были холоднее, чем те, что падали с неба. Дождь стучал по днищу телеги так же, как стучит по крыше. Я никогда не обращаю внимания на этот звук, но в тот день я его запомнил. А когда все пострадавшие книги

были собраны, для них выкопали две могилы и сложили Библии в одну, а сборники гимнов – в другую, после чего священник, проповедовавший в той церкви (баптист, если мне не изменяет память), прочитал над ними молитву. Я всегда удивлялся, наблюдая за взрослыми, откуда они знают, что нужно делать в той или иной ситуации, знают, как надлежит поступать в рамках приличия.

Женщины сложили пироги и печенье, которые прихватили с собой, и книги, которые еще можно было использовать, в телегу, а потом прикрыли досками, брезентом и пледами. Еда почти вся отсырела. Похоже, никто не подумал, что может пойти дождь. К тому же наступало время сбора урожая, так что едва ли в ближайшем будущем люди нашли бы время собраться здесь снова. Кафедру положили под дерево и прикрыли попоной. Спасли все, что можно было спасти, хотя от здания остались по большей части осколки черепицы да гвозди. Потом собравшиеся снесли уцелевший остов, чтобы сжечь его, когда он подсохнет. Пепел намок под дождем, и мужчины, которые копались в развалинах, перепачкались черной сажой и грязью, так что мы с трудом отличали их друг от друга.

«Да, удивительны последствия несчастья»^[14]. Это факт. Когда я сижу здесь в кабинете, слушаю радио и держу в руках какую-нибудь старую книгу, а дело клонится к вечеру, и ветер дует, и дом скрипит, я забываю, где нахожусь, и возникает такое впечатление, как будто я на минутку-другую вернулся в былые времена, и есть некая сладостность в этом ощущении, которая для меня непостижима. Но это делает ее еще более ценной. Я хочу сказать: невозможно познать истинную природу вещей даже на собственном опыте. Или, быть может, у них нет постоянной и определенной природы. Помню, как отец стоял под дождем, вода струилась с его шляпы, а он кормил меня печеньем из почерневших ладоней. Сзади возвышались останки обугленной церкви, а когда капли дождя падали на тлеющие обломки, от них поднимался пар. Дождь хлестал как из ведра, а женщины распевали «Старый крест», перебирая обломки и двигаясь с такой грацией, словно танцевали под этот гимн. Тогда ни одна взрослая женщина не могла позволить себе появиться на людях с неприбранными волосами, но в тот день даже достопочтенные дамы в возрасте распустили волосы, так что со спины все они походили на школьниц. Это было так весело и одновременно грустно. Я говорю об этом снова, потому что мне кажется, в тот самый момент я много чего понял в жизни. Сама скорбь часто возвращала меня в это утро, когда я принял причастие из руки отца. Мне это действие запомнилось именно как причастие, и я верю, что таковым оно и было.

Не могу описать тебе, что для меня значил тот дождливый день. Я сам себе не могу это объяснить. Но осознаю, что многое обрело смысл в тот день и я очень многое понял.

Теперь все старые женщины носят короткие стрижки и красят волосы в голубой цвет, и это нормально, я полагаю.

Всякий раз, взяв в руки Библию, я вспоминал тот день, когда община хоронила пострадавшие Библии у дерева под дождем, и мне казалось, что это воспоминание проливает некий благословенный свет на все происходящее. И я думаю о том, как старый священник проповедовал на руинах своей церкви с открытыми окнами, чтобы немногочисленные собравшиеся услышали, как «Старый крест» поднимается ввысь с холма, где проходит собрание методистов. А моя собственная церковь была освящена историей, которую мне поведали. Я помню, отец рассказывал: когда они с дедом впервые осмотрели церковь, ее крыша находилась в таком плачевном состоянии, что внутри на скамьях повсюду стояли ведра и кастрюли. Он говорил, женщины посадили ползучие розы у здания и вдоль забора, так что оно смотрелось красивее, чем когда бы то ни было. Поля и фруктовые сады снова зазеленели, а дороги между колеями поросли подсолнухами. Женщины собирались для чтения молитв и изучения Библии, несмотря на то что церковь разваливалась у них на глазах. Я думаю об этом, и мне это кажется прекрасным, и отражает силу их духа. Я в самом деле верю, что проявление неуважения к таким явлениям, как видения, есть расточительство и неблагодарность. И не важно, посещали тебя видения или нет.

Раз уж я заговорил о видениях, отмечу, что нам всегда приходилось проявлять осторожность, чтобы подойти к старику с нужной стороны. Он лишился правого глаза, и у нас сложилось впечатление, что видения приходили к нему именно с этой стороны. Он никогда особенно не распространялся на эту тему, поскольку чувствовал, что наше отношение к этой теме в корне неправильно, с какой стороны ни посмотри. Тем не менее мы старались проявлять должное уважение. Иногда, когда я возвращался домой из школы, мама встречала меня на задней веранде и шептала: «Господь в гостинной». Тогда я заходил лишь в носках и на цыпочках прокрадывался в свою комнату, не упуская возможности заглянуть в гостиную. Там на левом конце дивана восседал дед, а вид у него был сосредоточенный, дружелюбный и исключительно довольный.

Время от времени до меня доносились ремарки вроде: «Я понимаю твою точку зрения» или «Я и сам часто испытывал подобное». И на протяжении нескольких дней после этого старик прямо-таки светился, во взгляде у него появлялась целеустремленность, и он не так активно расхищал семейные запасы.

Однажды он сообщил за ужином:

– Сегодня днем я встретил Господа у реки, и у нас завязался разговор, знаете ли, и Он высказал одну мысль, которая мне показалась интересной. Он спросил: «Джон, почему бы тебе просто не отправиться домой и не зажить обычной жизнью пожилого человека?» Но мне пришлось признаться ему: я не уверен в том, что готов к путешествиям.

– Папа, – заявила моя мать. – Вы *уже* дома. Вероятно, он имел в виду, что вам просто нужно немного расслабиться.

– Что ж, – произнес дед. – Что ж... – и вновь провалился в свой сияющий восторг, задумавшись о чем бы то ни было.

Отец потом говорил: если старик пришел к мысли, что Господь хочет отправить его обратно в Канзас, то никакие доводы его не остановят. Для него было важно убедить себя в этом, хотя сомневаюсь, что он в итоге поверил.

Как-то раз, идя в школу, я увидел, как чьи-то дети дразнят деда, как будто перед ними самый обыкновенный костлявый старик, который собирает ежевику в шляпу, кивая и разговаривая при этом. Они подходили к нему справа, дотрагивались до руки, тянули за куртку. Когда они это делали, он начинал кивать и разговаривать, а они закрывали рты руками и убегали.

Что ж, меня это потрясло. Понимаю, насколько я в некотором роде верил, что справа от него существует некая священная зона. Поэтому я был потрясен, увидев, как эти дети нарушали ее границы своими выходками. Я стоял там, осмысливая увиденное, и пытался решить, что делать, когда старик развернулся и уставился на меня своим особенным взглядом. Понятия не имею, как он узнал о моем присутствии и почему смотрел на меня так, словно я предатель. Тогда это показалось мне несправедливым, но и позже я не мог отделаться от этой мысли. Мне так и не удалось убедить себя, что это произошло по ошибке, что на самом деле за его взглядом ничего не стояло.

Что ж, признаю, я действительно испытывал из-за него некое смущение. Быть может, даже стыд. И это был не первый раз, когда я испытал такое чувство. Но я был еще ребенком, и, мне кажется, он мог мне это простить. Такие люди, которые видят тебя насквозь, никогда не отдают тебе должное, ибо они никогда не хвалят тебя за старания быть лучше, чем ты есть, а ведь это делается с благими намерениями, требует больших усилий и заслуживает хоть какого-то поощрения.

Я еще кое-что скажу. Для всех нас было ужасно, что он ушел именно так. Мы знали, в этом был некий промысел. И что бы мы ни говорили в свою защиту, ссылаясь на здравый смысл и высокие устремления, мы знали, что по его меркам то, что произошло, было обычным делом, поэтому и по нашим меркам оно становилось совершенно обычным. Он так много забрал с собой, когда уехал.

Мой отец говорил, что, когда впервые вошел в церковь деда после возвращения из армии, ему в глаза сразу бросилась вышивка, которая висела на стене над столом для причастия. Вышивка отличалась изысканной красотой: цветы и языки пламени окружали слова «Господь Бог наш есть очищающий огонь». Полагаю, именно поэтому мне всегда кажется, как будто молния поразила церковь деда. Как оно и было на самом деле.

Отец сказал, что именно эти письма подвигли его обратиться к квакерам. По его словам, лично испытав, что такое война, он пришел к

выводу, что слово «очищающий» подходит для ее описания меньше всего. И одна мысль о том, что эти женщины могли поверить, как будто мир становится сколько-нибудь чище благодаря убийству их сыновей и мужей, казалась ему отвратительной. Он стоял там, глядя на вышивку, с явно недовольным видом, потому что одна из женщин заметила это, подошла и сказала:

– Это всего лишь слова из Священного Писания.

Он ответил:

– Прошу прощения, мэ. Но таких слов в Священном Писании нет.

– Что ж, – ответила она. – Они точно должны там быть [\[15\]](#).

Разумеется, он посчитал ужасным, что она могла так подумать. И даже если таких слов в Библии нет, можно сказать, что они весьма точно передают смысл нескольких отрывков. Вероятно, это она и имела в виду.

Я всегда жалел о том, что не видел его – этот гобелен, который они смастерили, если его можно так назвать. Отец говорил, что с обеих сторон на нем красовались херувимы, опустившие крылья вперед, как на старых картинах, а там, где должен был находиться Ковчег Завета Господня, сияли эти обжигающие слова, а под ними и над ними пылали языки пламени. Не знаю, как эти женщины умудрились найти подходящий материал, сколько лоскутов и отрезов от тех немногих достойных платьев, что у них остались, потребовалось на изготовление подобной вещи. И я всегда недоумевал, какая судьба ее постигла. Все материальное так уязвимо перед унижительным разложением. Кое-что мне особенно хотелось бы сохранить.

Когда эти женщины узнавали, что остались вдовами, они одна за другой возвращались к своим семьям на Восток. Не все, но очень многие. Некоторые похоронили мужей и детей у церкви, поэтому чувствовали, что не могут уехать. А некоторые из тех, кто уехал, вернулись, хотя и много лет спустя. И все же эта паства медленно разбредалась, а землю купили методисты и сожгли старое здание, ибо спасти его было невозможно.

Однажды отец упомянул в проповеди о том, как сильно сожалеет о тех временах после войны, когда отправился к квакерам, в то время как его отец пытался найти слова утешения для несчастных прихожан, которые у него остались. Он говорил, что в те дни его отец открывал все окна, которые еще открывались, чтобы прихожане могли слышать, как методисты поют у реки, и некоторые женщины начинали подпевать, если слышали «Старый крест» или «Вековая скала», даже посередине службы, а он просто умолкал и слушал их. Ветер, по его словам, приносил запах земли, потому что вокруг было много свежих могил. И все равно люди

впоследствии вспоминали эти утренние часы по воскресеньям и вечерние – по средам как нечто несказанно прекрасное. Они говорили об этом с какой-то нежностью. Мой отец утверждал, что с тех пор он всю жизнь сожалел и раскаивался, но почти всегда – в недостаточной степени, ведь сначала отказ от участия в боевых действиях казался ему почти делом принципа. Его отец, читая проповеди, призывал людей идти на войну и заявлял, что, пока существует рабство, мира не будет, а будет только война между вооруженными и могущественными против плененных и беззащитных. Он говорил, что мир наступит только по окончании войны, когда Господь призовет нас покончить с ней. Он говорил все это, заткнув пистолет за пояс. И все вокруг постоянно кричали «аминь», даже маленькие дети.

Сегодня я пришел домой на обед и застал тебя за игрой в мяч с Джеком Боутоном. У тебя была его перчатка, отличная новая перчатка филдера, которая доходила тебе почти до локтя, а у него – старая перчатка Эдварда, которую я храню у себя на столе. И ничего предосудительного в этом не было. Я сам виноват, что у тебя не было собственной перчатки. Я это исправлю.

Боутон-младший учил тебя ловить граундеры – подачу по земле, вероятно, для того чтобы отвлечь внимание от того факта, что на лету ты вряд ли поймаешь мяч в принципе. Ты очень серьезно относился к происходящему, бегал туда-сюда на своих крепких детских ножках, а он подзадоривал тебя криками: «Давай, давай!» – а потом колотил в перчатку и говорил голосом спортивного комментатора: «А секунды так и бегут одна за другой, ребята. Успеет ли он сделать бросок вовремя?» И ты снова терял мяч, а он говорил: «Удивительно, ребята. Бегун, похоже, споткнулся из-за собственных шнурков! Он упал! Ему надо перевести дух! Теперь он поднялся и направляется к базе!» И добавлял: «Он привлекает левую ногу, друзья, он прыгает на одной ноге!» В этот момент ты, заливаясь смехом, наконец подал ему мяч, а он произнес: «Что ж, друзья, бегун вне игры!» Это было прекрасно – наблюдать за вами, стоя в тени.

Помню, я смотрел, как Луиза прыгает через скакалку на этой же улице в ярко-красном пальто, а ее косички взлетают ввысь в холодном воздухе. Стояла ранняя весна, так что поднять пыль она никак не могла. На деревьях только набухали почки. Они еще сохранили тот легкий удалой вид, который обычно имеет молодая поросль. Не знаю, кто придумал посадить вязы по всему городу, но кто бы это ни был, он сделал для нас благое дело. Мы со стариком Боутоном раньше играли в мяч под теми же деревьями, пока у него не начали болеть суставы, а это было еще до того,

как ему исполнилось сорок, насколько я помню. Его здоровье доставляло ему тогдашнему немало хлопот. А этот Джек Боутон годился ему в отцы, если присмотреться хорошенько.

Я пытаюсь извлечь максимум пользы из ситуации. То есть пытаюсь рассказывать тебе о том, о чем никогда не подумал бы рассказать, если бы воспитывал тебя сам, как отец – сына самым привычным образом, общаясь на равных. Когда все идет как положено, сложно запомнить, что именно произошло. О стольких событиях тебе никогда в голову не пришло бы рассказывать другим.

А я верю, что, быть может, именно эти мгновения станут для тебя самыми важными и ты поведишься впечатлениями уже со своим ребенком, чтобы он узнал тебя лучше. Я помню тот день из моего детства, когда лежал под телегой с другими маленькими детьми и наблюдал, как взрослые разбирают руины этой баптистской церкви, а отец принес мне на обед одно печенье, и я выполз из укрытия и сел на колени рядом с ним под дождем. Я помню это так, словно он преломил хлеб и положил кусочек мне в рот, хотя знаю, что он этого не делал. Его руки и лицо почернели от пепла: вид у него был обугленный, как у одного из старых мучеников. И он сел на колени под дождем и достал печенье из-за пазухи, и он разломал его, это правда, и отдал половину мне, а другую взял себе. Это действительно был хлеб скорби, ибо тогда все прозябало в бедности. Несколько лет стояла засуха, так что времена выдалась тяжелые. Хотя мы не обращали на это особого внимания, ведь тяжело было всем. И, наверное, поэтому никто не переживал из-за дождя. Он случался так редко. Еще я всегда вспоминаю, как женщины распустили волосы и позволили длинным юбкам волочиться по грязи, даже старые женщины, как будто это нисколько не беспокоило их. А потом это пение, которое в моих воспоминаниях звучит прекрасно, хотя я совершенно уверен, что в действительности оно не было таковым. Его просто унес бы шум дождя. «Под крестом Христовым». Все чудесные старые мелодии. Эта горькая закуска значила для меня все больше, по мере того как проходили годы. И много раз я размышлял об этом.

Неудивительно, что я вспоминаю этот день так, словно отец причастил меня, вытащив «хлеб» и преломив его покрытыми пеплом руками. Странно, что я помню, как именно принял его, потому что в наших краях священник никогда не клал хлеб в рот причащающегося, как делают в некоторых церквях. Я думаю об этом потому, что в то утро, когда мать привела тебя на причастие, выставила вперед и сказала: «Ты должен дать и ему», – я преломил хлеб и дал его тебе с руки как раз таким образом, как

никогда не сделал бы мой отец, если не считать этого воспоминания. И я знаю, что в то мгновение я в некотором роде хотел поделиться с тобой этим воспоминанием, которое очень дорого мне, хотя только сейчас я стал осознавать, как часто возвращаюсь к нему.

Потоком непрерывным время
Всех забирает сыновей;
Они летят, забытые, не медля,
Как умирают сны в рассветной мгле.

Добрый старый Исаак Уоттс. Я часто думал об этих строках. Я всегда недоумевал, какое отношение эта настоящая реальность имеет к реальности конечной.

И тысяча веков в Твоих глазах
Мелькает за один лишь вечер...

И это, несомненно, правда. Наши мечты о жизни закончатся так же, как и сны, резко и безвозвратно, как только взойдет солнце и станет светло. И мы подумаем, что весь этот страх и все это горе ничего не значат. Но это не может быть правдой. Не могу поверить, что мы можем полностью избавиться от наших печалей. Это означало бы забыть, что мы жили, если говорить человеческим языком. Мне кажется, по большей части человеческая жизнь состоит из печали. Например, в этот самый момент я испытываю некую скорбь, исполненную любви к тебе, которую ты прочтешь между строк, ибо я совсем тебя не знаю. И, поскольку тебе суждено расти без отца, ты, бедный ребенок, сейчас лежишь на животе в лучах солнца, а Соупи спит у тебя на поясице. Если ты рисуешь эти ужасные маленькие картинки, которые принесешь мне, надеясь на похвалу, я, разумеется, похвалю тебя, потому что у меня духу не хватит произнести хоть одно нехорошее слово, которое может тебе запомниться.

Я расскажу тебе еще пару старых историй. Я так много знаю о былых днях еще из тех времен, когда мы с отцом заблудились в Канзасе. Не знаю, плакал ли я на самом деле, зато знаю, что много раз с трудом сдерживался, чтобы не разразиться слезами. Подошвы моих ботинок истерлись до дыр, и пыль со щепками и гравием попадала внутрь и точила мои носки, а потом уже и ноги. О, эта страшная грязь! О, эти волдыри! Время лежит на детях тяжелым грузом. Они тяжело приобщаются к церкви, как тебе известно. Так и я брел и брел в никуда день за днем и всегда хотел остановиться, посидеть, прилечь, а отец продолжал идти вперед, несомненно, терзаемый

отчаянием, ибо имел на это полное право. Раз или два я в самом деле присел. Я просто сидел там на жаре, а сорняки вместе с кузнечиками летали вокруг моей головы, а он все шел и шел, пока почти не скрылся из виду, а для этого в Канзасе надо отойти на внушительное расстояние. Тогда я вскочил и бросился догонять его. Он сказал: «Так тебе скоро захочется пить». Что ж, мне полжизни казалось, будто меня мучает жажда.

Но приятнее всего было то, что, когда я находился подле него, он рассказывал мне удивительные истории, которые оставил бы при себе в другой ситуации. Если нам удавалось добыть ужин, он рассказывал что-то интересное в знак благодарности, а если ужина не было, то говорил, чтобы развеять грусть. Однажды несколько сов разбудили нас уханьем, как это иногда случается, и он поведал мне о том, как однажды проснулся ночью и вышел во двор и увидел, как старый мул Джона Брауна^[16] выходит из церкви его отца. Кто-то долго уговаривал животину спуститься по деревянным ступенькам в ночной темноте при свете одной только луны. Потом что-то загремело, и послышался печальный суровый голос: «Все хорошо. Все хорошо». Потом из церкви вышли четыре лошади, гарцующие, оживленные и уже оседланные. Потом двое мужчин забрались на одну из лошадей, а вторую повели за собой за поводья. Один из них был ранен, и его приходилось поддерживать. Они уехали, не сказав ни слова. Потом, через пару минут, мой отец услышал, как открылась дверь конюшни, и различил топот и шумное дыхание их лошади, а потом – голос деда, который говорил с ней. Вскоре дед тоже уехал.

Он рассказывал, что пошел в церковь и сидел там в темноте, недоумевая, что делать дальше. Тогда ему не было и десяти. Он говорил, в церкви пахло лошадьми, порохом и потом. (Тогда не было таких пуль, как сейчас, так что они использовали лишнее время, чтобы зарядить ружья порохом.) Они расставили скамьи и стол для причастия вдоль стен, чтобы освободить место для животных. Несомненно, мужчины спали на скамьях, и раненый – тоже, потому что на одной из них осталось очень много крови. Отец говорил: «Это было первое, что я увидел, когда стало светать».

Он вытащил эту скамью через заднюю дверь и положил ее на бок, так что она погрузилась в высокую траву. Он старался, чтобы трава тоже сильно не пострадала. Потом он взял лопату и метлу и убрал за лошадьми так тщательно, как только смог. Он взял ведро воды и кусок мыла и принялся тереть пятно от крови, но оно становилось только больше. В итоге он залил водой весь пол, чтобы пятно стало не таким заметным. Он подумал, что если мужчин, спавших в церкви, кто-то преследовал, то этот кто-то может заявиться в церковь в любое время и как раз будет искать

нечто вроде навоза мула на полу или следов крови на скамье. И, разумеется, об этом в любом случае следовало позаботиться, особенно если принять во внимание то, что наступила суббота.

Но те же самые преследователи, разумеется, удивились бы, застав его за уборкой церкви еще до восхода солнца. Потом ему пришло на ум, что это очень странно для его отца – вот так уехать без каких бы то ни было приготовлений, не оставив распоряжений о том, как все исправить, бросив его в этой нелепой ситуации, когда он только встал с постели и не понимал, что делать. Он думал обо всем этом и как раз тащил ведро воды в церковь, когда заметил мужчину в американской армейской форме, который сидел в сумерках на скамье, прислонившись к стене, со шляпой в руках. Пистолет лежал на скамье рядом с ним.

– Мило у вас тут, – заметил солдат. Потом поковырялся в разорванной в ключья материи на колене брюк и сказал: – Моя чертова лошадь меня сбросила. Ухнула сова или что-то вроде того, и она понесла. А у вас, ребята, не найдется ли лошади, которую я мог бы взять? Мне нужно-то всего на день или на два.

– Вы должны поговорить с моим отцом.

– Твоего отца здесь нет, – ответил солдат. – Думаю, он уехал куда-то на той самой лошади, которую я надеялся позаимствовать. – И добавил: – Ты слышал о Джоне Брауне из Осаватоми? Конечно же, слышал. Все слышали. Я вижу, ты хороший мальчик. Не волнуйся. Я не собираюсь заставлять тебя лгать прямо здесь, в церкви, братишка. Ты знаешь, чем занимался Джон Браун?

Мой отец сказал, что слышал.

Солдат кивнул:

– Здесь есть приличные парни, которые помогали ему при любой возможности. Священники, которые несут Слово Божие. Они разрешали ему приводить его старого мула прямо в церковь, если он просил. Они почитали это за честь. Мне кажется, это удивительно. Эти беглецы заявляются сюда с оружием, израненные, в грязных сапогах, заливают кровью весь пол, и к этому нормально относятся. А потом за ними приходит солдат американского правительства, чтобы выполнить работу, за которую ему платят, а ему даже чашку кофе никто не предложит.

Мой отец сказал:

– У нас есть кофе. Я почти уверен, что есть.

Солдат поднялся со словами:

– Я разделился с бойцами моего взвода за две мили от этого места, и они отправились на восток. Они знали, куда эти ребята поедут дальше, как

только луна начнет скрываться из виду. Для того чтобы разобраться в ситуации, необязательно видеть кучу навоза на крыльце. Так что если твой отец с ними, возможно, он сейчас не в лучшем положении. – А потом добавил: – Думаю, я должен был сказать тебе это до того, как выпью твой кофе.

Отец пытался заговорить, но губы у него онемели настолько, что он едва мог пошевелить ими и выдать из себя хоть что-нибудь. Солдат сказал:

– Я просто попью воды из вашего колодца.

Потом он вышел из церкви, попил воды и пошел по дороге, слегка прихрамывая на ту самую ногу. Моему отцу была ненавистна мысль о том, что именно этого человека застрелил дед, но он в это верил. Я не намекаю, что он убил его в открытую, но в те дни и в том месте человек мог умереть от множества причин, помимо пулевого ранения.

Он отправился на соседнюю ферму и забрал их лошадь, а потом уехал туда, где, как он предполагал, находился его взвод, хотя, если это был тот самый человек, то он взял курс чуть южнее. Браун и другие отправились по кругу назад, а потом поехали на юг к холмам, зная, что за ними гонятся. А мой дед, не торопясь, вернулся домой с тем большим пистолетом за поясом и двумя окровавленными рубашками под мышкой, что было очень глупо. А под курткой у него ничего не было, потому что он обменял свою рубашку на те две, которые привез с собой. Но после того дня он никогда уже не проявлял практичность, как говорил отец. Не знаю, в чем причина такой его непрактичности, но я готов поручиться за факт ее существования. Как бы там ни было, заблудший солдат в самом деле подошел к нему и заставил спешиться, а сам он действительно сидел на гнедой лошади, которая очень походила на соседскую. Солдат принялся допрашивать его, и дед, несомненно, попался. Зато у него был с собой пистолет, и он был заряжен.

«Что ж, я в самом деле выпустил в него пулю, – признался дед. – Потом его лошадь встала на дыбы. И он упал с нее, как надо». И он так и оставил его лежать на земле. «Старик Браун спрашивал, готов ли я прикрыть их отступление, если придется. Я сказал, что готов, и так и поступил, – сказал он. – А что мне *было* с ним делать, тащить сюда?» Он намекал на то, что паства вложила массу хитроумных идей и сил в постройку полых стен и крытых подвалов в самых разных будках и пристройках, а также туннелей, которые брали начало в ящиках для картошки и заканчивались под стогом сена или за сотню ярдов от дома и дальше. В церкви держали гроб с фальшивым дном, а еще рядом находилась открытая могила, выстланная

грязной мешковиной, которая растягивалась на пару ярдов, доходя до туннеля, а туннель заканчивался в сарае. Все эти старания объяснялись желанием освободить пленных, поэтому ради их блага эту тайну тщательно охраняли. Солдат мог только заключить, что мой дед состоял в сговоре с Джоном Брауном и пристальное внимание к его особе могло все испортить.

Старик рассказал отцу о том, что случилось, лишь потому, что отец поведал ему о встрече с солдатом в церкви. «Темноволосый парень, говоришь? С манерой растягивать слова?» Он рассказал отцу, что дело было крайне важное, вопрос жизни и смерти. И ему никогда нельзя и словом об этом обмолвиться. А если кто-то спросит, он должен держать ложь наготове. Так, засыпая и пробуждаясь, отец всякий раз думал об этом раненом солдате, который один погибал на равнине, и пытался представить, как он говорит, как будто никогда не видел этого человека и не разговаривал с ним.

Что ж, официальные лица так и не обратились к нему с вопросами об этом солдате, и отец пришел к мысли, что тот, вероятно, где-то там и умер. Он говорил: «Облегчение, которое я испытывал каждый день, когда никто не приходил, приводило меня в ужас». Разумеется, весьма высока вероятность того, что день смерти человека станет худшим днем его жизни. Но мой отец говорил так: «Когда он сказал, что лошадь встала на дыбы, у меня сердце дрогнуло». И так мы лежали там на сеновале, в чужом брошенном сарае, слушая сов, полевок, летучих мышей, слушая ветер, и совершенно не представляли, когда наступит рассвет. Отец говорил: «Я никогда не мог простить себя за то, что не отправился тогда на его поиски». И я чувствовал, что слова его правдивы настолько, насколько это в принципе возможно. Он рассказывал: «Как раз в следующее воскресенье старый дьявол проповедовал в одной из этих рубашек, с пистолетом за поясом. Не поверишь, скольких людей тронули его речи и как все плакали и кричали». А после этого, сказал он, его отец начал пропадать на несколько дней. Иногда по воскресеньям случалось, что он подъезжал на лошади к церкви прямо перед началом службы и палил в воздух, чтобы известить людей о своем возвращении. На кафедре он стоял с красными глазами, побледневшим лицом и пыльной бородой, готовясь проповедовать о правосудии и милосердии. Мой отец признавался: «Я так и не осмелился спросить, что у него на уме. Страшно боялся узнать о том, что все еще хуже, чем я подозревал».

Я лежал под боком у отца, а моя голова покоилась на его руке. Я слушал ветер и испытывал сожаление, настолько глубокое, что не мог понять, на кого оно направлено. Я жалел мою мать, которая могла бы

отправиться искать нас и никогда, никогда бы не нашла. Я жалел летучих мышей и полевок. Жалел землю и луну. Жалел Господа.

На следующий день мы попали на ферму к той леди из Мэна.

Сегодня утром я встречался с попечителями церкви. Все прошло хорошо. Они достаточно уважительно проигнорировали несколько предложений, которые я внес по поводу ремонта здания. Я почти уверен, что они построят новую церковь, когда меня не станет. Я не намекаю на то, что это бесчеловечно – они как раз не желают расстраивать меня, поэтому и ждут, и это очень мило с их стороны. Они снесут старую церковь и возведут нечто побольше и посolidнее. Я слышал, они восхищались тем, что сотворили лютеране. Здание и правда производит впечатление: красный кирпич, вход с белыми колоннами, массивные большие двери и прекрасная колокольня. Внутри было очень красиво, как мне рассказывали. Меня пригласили на освящение церкви, и я пойду, если еще буду здесь и смогу посещать подобные мероприятия. Другими словами, на все воля Божия. Мне хотелось бы увидеть новую церковь, но они правы: я не смогу смотреть, как сносят старую. Я верю, что, если увижу нечто подобное, это может убить меня, хотя в моей ситуации это не так уж плохо. Приступ скорби в качестве смертельного удара – это даже звучит поэтично.

Нетерпелив ли я? Может ли такое быть? Сегодня я не ощутил и намек на боль во всем теле, да и в сердце, в частности. Комок в груди продолжает биться подобно тому, как старая корова жует жвачку, все с той же самой унылой бесконечностью и удовлетворением, как мне кажется. Ночью я просыпаюсь и слышу это. Снова, говорит сердце. Снова, снова, снова. «Ибо Сохранение есть Созидание, более того, это продолжительное Созидание, и каждый момент Созидания». Эти строки из Джорджа Герберта, которого ты, надеюсь, читал. *Снова* – единственное слово, которое когда-либо говорило любое сердце. И, как только произносится слово, мгновение уже прошло, так что в нем нет даже намек на обещание.

И сердца твердь
Тебя навек
Молитвой прославляет.
И если обрету покой,
То камень твое дело продолжает.

Что ж, пожалуй.

И если Герберт прав, это старое тело – создание совершенно новое, как и ты сам. Я говорю о том, какой ты сейчас, когда сидишь и играешь под

моим окном на качелях, которые смастерил для тебя Дэн Боутон. Должно быть, ты помнишь все это. Он привязал рыболовную леску к стреле и метнул ее высоко над веткой дерева, потом с помощью лески поднял веревку и так далее. Он потратил на это весь день, но все же добился успеха. Дэн умный, добросердечный молодой человек. Он стал для матери с отцом настоящей отдушиной. Теперь он преподает в школе где-то в Мичигане, как мне сказали. Он все же не встал на путь служения Господу, хотя от него многие годы ждали именно этого.

Ты стоишь на сиденье качелей и взлетаешь гораздо выше, чем следовало бы, в гордой позе моряка при качке. Веревки длинные, а ты весь светишься, и веревки закручиваются вокруг, как паутина, лениво и медленно. На тебе красная рубашка, твоя любимая, и ты влетаешь в солнечный свет, и на мгновение самым чудесным образом застываешь в нем, а потом снова возвращаешься в тень. Похоже, ты абсолютно счастлив. Я помню эти первые эксперименты с простейшими физическими явлениями – тяготением и светом – и помню, какое удовольствие они приносили. А вот и мама. «Не раскачивайся так сильно», – говорит она. Ты поспоришь. Ты же настоящий парень.

Я не собирался критиковать попечителей. Я действительно понимаю, как им не хочется вкладывать *большие* деньги в восстановление здания церкви на данном этапе. Но если бы я был чуть моложе, вот те крест, я починил бы эту крышу сам. А так я, пожалуй, только забью пару гвоздей в ступеньки у парадного входа. Не вижу смысла запускать нашу обитель, пусть даже она доживает последний год. Здание совершенно обычное, но благодаря пропорциям кажется весьма интересным. А когда его красят, оно обретает вид идеальной церкви, если уж говорить о внешнем облике. Во всех остальных аспектах она совершенно не соответствует своему назначению, я признаю это.

Я не забыл обратить их внимание на то, что флюгер привез из штата Мэн мой дед, и он красуется на колокольне уже много лет. Он подарил его отцу в день его посвящения в сан. Жители Мэна раньше устанавливали на колокольнях флюгеры в виде петухов, как он говорил, чтобы напоминать себе об отречении Петра и помогать в раскаянии. В те годы не так часто использовали кресты. Но с тех пор, как я упомянул, что на колокольне сидит петух, которого они раньше не замечали, попечители озабочены отсутствием креста. Полагаю, они его установят, раз уж озадачились этим вопросом. Это единственное, до чего у них дойдут руки. Они сказали, что перевесят флюгер куда-нибудь на стену, быть может, в притвор, где его

смогут рассмотреть посетители. Мне все равно, как они поступят. Я упомянул о нем лишь потому, что не хочу, чтобы его выбросили вместе со всем остальным. Он очень старый. А так ты хотя бы сможешь его разглядеть.

Там, где тело петуха соединяется с хвостовыми перьями, есть дырка от пули. Я слышал много историй о том, как она появилась. Однажды мне рассказали, что, поскольку дед не имел возможности ударить в колокол или как-либо еще известить паству о собрании, а у жителей не было исправных часов, он стрелял в воздух, но один раз не обратил внимания, куда направил пистолет. Еще ходили слухи, как будто один человек из Миссури, проходивший мимо, когда люди как раз собрались на встречу, выпустил пулю в петуха и привел его в движение, чтобы опечалить их, ибо он знал: они выступают против рабовладения. А еще говорили, как будто в церковь доставили целый ящик винтовок Шарпса и кто-то захотел проверить, действительно ли они так точны, как заявляют.

Винтовка Шарпса стреляет точно в цель, но я подозреваю, что правдива именно первая история, потому что, если судить по моему опыту, такая меткость может быть только случайной. Мой дед, вероятно, предпочел не распространяться о поступках, которых стыдился, и, вероятно, сам допустил, чтобы слухи плодились и множились. Я рассказал членам комитета историю о жителе Миссури, потому что в ней прослеживалась христианская подоплека: стрельба по флюгеру могла быть расценена как проявление исключительной сдержанности, ибо тогда вокруг кипели нешуточные страсти. Кроме того, именно эта версия представляет наибольший интерес с исторической точки зрения, как мне кажется. Да и вообще она весьма правдоподобна, хотя я знаю, что она не соответствует действительности. Сложно заставить людей уважительно относиться к старым вещам. Поэтому я подумал: нужно сделать все возможное для этого старого петуха.

Во многих случаях эти церкви поселенцев предназначались лишь для того, чтобы укрыть паству от дождя, до тех пор пока не найдется времени и ресурсов построить что-то получше. Поэтому о ценностях древней архитектуры говорить не приходится. Они просто приходят в негодность. Они и не должны были снискать вековую славу. Я помню старую баптистскую церковь, которую помог снести мой отец, всю почерневшую от дождя. Она выглядела еще более жутко, чем до того, как в нее ударила молния. Я всегда представлял себе подобную картину, когда думал о церкви. В детстве я искренне верил: колокольню строят, чтобы привлечь удар молнии. Я считал, она предназначается для защиты всех остальных

домов и строений, и это казалось мне очень достойным предназначением. Потом я углубился в историю и осознал через какое-то время, что не каждая церковь стоит на Великих равнинах и не на каждой кафедре проповедует мой отец. История церкви очень сложна и запутана. Я хочу, чтобы ты знал то, что знаю я. Сейчас так много людей, которые думают, что верность религии – проявление невежества, если не хуже. Я понимаю это и знаю, что против церкви можно выдвинуть множество серьезных обвинений. Еще я знаю, что мой церковный опыт во многих отношениях скуден и узок. Во всех отношениях, если только речь не идет о воистину универсальной и исключительной жизни, когда и хлеб не хлеб, и чаша не чаша, где бы то ни было, при любых обстоятельствах, и это время с Господом в Гефсиманском саду наступает для каждого, я в это искренне верю. Это обугленное печенье из покрытой пеплом руки отца. Оно значит намного больше, чем я могу объяснить. Так что не суди о том, что я знаю, по тому, что я могу описать. Если бы я мог дать тебе то, что дал мне мой отец! Нет, то, что дал мне Господь, и то, что должен дать тебе я. Но, надеюсь, ты сам воспрепятствуешь этому дару. И сейчас я говорю не о призвании священника, как уже пояснил.

Сегодня утром я сделал нечто странное. По радио передавали вальс, и я решил, что мне хочется потанцевать под музыку. Не в буквальном смысле, конечно. У меня есть представление о том, как вальсировать, хотя правильным шагам меня никто не учил. Главным образом я размахивал руками и крутился, проявляя большую осторожность. Вспоминая молодость, я прихожу к мысли, что так и не наслаждался ею в полной мере, ибо она кончилась прежде, чем я успел это сделать. Всякий раз, когда думаю об Эдварде, я вспоминаю, как мы играли в мяч на жаре на улице, и эту удивительную усталость в руках. Я вспоминаю прыжок после высокого броска и эту восхитительную синхронность во всем теле, и необыкновенную уверенность, и изумление от осознания того, что перчатка оказалась именно там, где она должна быть. О, я буду скучать по этому миру!

И вот, я решил, что было бы неплохо немного повальсировать. Так и вышло. Я собирался вальсировать исключительно здесь, у себя в кабинете. Возможно, следовало держать под рукой книгу, которую можно схватить, если я начну испытывать необычную боль. И в ней должна быть какая-то особая рекомендация на тот случай, если ее найдут у меня в руках. Это казалось наигранным, если задуматься, и к тому же могло породить неприятные ассоциации с книгой и снискать ей дурную славу. В числе

книг, которые я рассматривал, были работы Донна, Герберта, «Послание к Римлянам» Барта, а также второй том «Институтов» Кальвина. Что ни в коем случае не означает, что я неуважительно отношусь к тому первому.

Есть некая тайна в мысли о воссоздании старого человека в качестве старого человека, в котором бережно сохранили все недостатки и травмы от того, что называется долгой жизнью, и все его претензии и предпочтения тоже остались бы при нем, как, например, привычный артрит в левом колене. Я иногда думал, что Господь, должно быть, помнит все наши жизни, так сказать. Разумеется, помнит. Хотя «память», несомненно, неподходящее слово. Но тот палец, который я сломал, когда бежал на вторую базу в двадцать два года, сейчас кажется особенно кривым, и я могу истолковать этот факт, как проявление личного внимания к моей персоне, согласно точке зрения Герберта.

Сегодня утром я прогулялся до дома Боутона. Он сидел на затененной веранде за побегами кампсиса и дремал. Они с женой обожали кампсис, потому что он привлекает колибри. За эти годы побеги разрослись, так что дом стал больше походить на укрытие для охоты на уток. Боутон поправил меня, когда я поделился с ним наблюдениями. «Укрытие для охоты на колибри, – сказал он. – Порой, попав в одну маленькую птичку, убиваешь тысячи». Но, как он говорит, из нее и чашку бульона не сварить, так что на этот раз он воздержится от стрельбы.

Все его насаждения выглядели неухоженно, но, идя по дороге, я увидел, как Боутон-младший и Глори пропалывают клумбу с ирисами. Дом принадлежал Боутону. Раньше я думал, что это неизбежно, и, кроме него, некому было следить за порядком, так что за последние годы все пришло в запустение.

Казалось, он пребывал в отличном расположении духа. «Дети, – заявил он, – исправляют то, что не доделал я».

Я поговорил с ним немного о бейсболе и о выборах, но видел, что слушает он главным образом голоса детей, которые, судя по разговору, тоже пребывали в состоянии счастья и гармонии. Я помню времена, когда они играли в этом саду с кошками, воздушными змеями и пузырями. Это было прелестное место, должно быть, ты увидишь его именно таким. Их мать была прекрасной женщиной и очень любила посмеяться! Боутон говорит: «Я страшно по ней скучаю». Она знала Луизу еще в детстве. Однажды они подложили сваренные вкрутую яйца под соседскую несущку. Я так и не понял, для чего, зато до сих пор помню: они хохотали

так, что повалились на траву и лежали там, обливаясь слезами от смеха. Однажды мы с Боутоном и еще кое с кем разобрали прицеп для перевозки сена и снова собрали его на крыше здания суда. Не знаю, в чем был смысл этой затеи, но мы прекрасно провели время, трудясь под покровом темноты. Я еще не был посвящен в духовный сан, но учился в семинарии. Не знаю, на что мы рассчитывали. Со всем этим смехом. Жаль, я не услышу его снова. Я спросил Боутона, помнит ли он, как мы собирали прицеп на крыше, и он ответил: «Как я могу об этом забыть?» Потом он захихикал, чтобы сделать мне приятное, но на самом деле ему хотелось просто сидеть на веранде, подперев подбородок набалдашником трости, и слушать голоса детей. И я отправился домой.

Вы с мамой делали бутерброды с арахисовым маслом и яблочным пюре на булочках с изюмом. Для меня такой бутерброд – настоящее лакомство, что тебе, несомненно, известно, ибо ты заставил меня задержаться на веранде, до тех пор пока вы не подготовили все до последней мелочи – разлили молоко по кружкам и так далее. Похоже, дети думают, что, когда хочешь сделать кому-то приятно, за этим непременно должен стоять сюрприз.

Твоя мама немного расстроилась, потому что не знала, где я. Я не сказал ей, что собираюсь сходить к Боутону. Она переживает, что я могу упасть замертво где угодно, и эти опасения не лишены здравого смысла. Мне в самом деле кажется, что может быть и похуже, но она смотрит на это иначе. По большей части я чувствую себя намного лучше, чем намекал доктор, поэтому намереваюсь наслаждаться жизнью по максимуму. Это помогает мне засыпать.

Я думал о родителях старика Боутона, о том, какими они были во времена нашего детства. Они являли собой весьма мрачную пару, даже в расцвете лет. Совсем не как он. Его мать принимала пищу крошечными кусочками, а глотала так, словно ей приходилось глотать горящие угли, распалывшие еще больше ее пламенную диспепсию. А в его отце, почтенном джентльмене, всегда чувствовалось нечто такое, что выдавало злобу. Мне всегда нравилось выражение «затаить злобу», ибо многие люди питают нежные чувства к своим обидам, ведь они ближе всего к сердцу. Что ж, кто знает, что сейчас случилось с этим двумя старыми паломниками. Я всегда воображаю, как божественное милосердие возвращает нас самим себе, позволяя смеяться над тем, во что мы превратились, смеяться над нелепым прикрытием в виде сгорбливания, прищуривания, прихрамывания и нахмуривания бровей, которое все мы

используем время от времени. Я ликую, надеясь на то, что при встрече не буду ощущать разобщенность с тобой из-за всех тех странностей, которые навязала мне жизнь. Глядя на Боутона, я вижу забавного благородного молодого человека, полного энергии. Он ходит, опираясь на две палки, и говорит, что если бы у него была третья рука, ходил бы на трех. Он не поднимался на кафедру последние десять лет. Я пришел к выводу, что Боутон исполнил свою миссию, а я свою – пока нет. Надеюсь, я не испытываю терпение Господа.

Я начал читать «Тропинку одинокой сосны». Я сходил в библиотеку и раздобыл себе еще один экземпляр, поскольку твоя мама не может расстаться со своим. Полагаю, она опять перечитывает эту книгу. А я забыл содержание совершенно, как будто совсем ее не читал. Героиня – молодая девушка – влюбляется в человека старше нее. Она говорит ему: «Я пойду за тобой куда угодно». Это развеселило меня до смеху. Наверное, это очень хорошая книга. Он не такой старый, как я, но и твоя мать не так молода, как девушка из книги.

На этой неделе я намереваюсь проповедовать по книге Бытия (глава двадцать первая, стихи с четырнадцатого по двадцать первый), то есть об истории Агари и Измаила. В обычные времена, когда я был лет на двадцать моложе, я прочитал бы дежурную речь по Евангелию и посланиям, прежде чем вернуться к Бытию. Обычно я так и поступал и всегда чувствовал, что такой подход весьма эффективен для обучения паствы, а ведь именно для этого и трудится проповедник. Теперь же я говорю о чем бы то ни было, что приходит на ум. В данный момент – об Агари и Измаиле.

История Агари и Измаила вспомнилась мне, когда я молился сегодня утром, и я нашел в ней великое успокоение. Эта притча учит нас, что не только отец ребенка заботится о его здравии и защищает его мать, но и мать, если не сможет добыть пропитание для себя или ребенка, получит его где-то еще. В этом смысле притча утешила меня. Так и проходит жизнь: мы отправляем наших детей в страшные неизведанные земли. Некоторых, похоже, прямо в день их появления на свет, несмотря на все наши старания. Другие, кажется, сами стремятся отправиться в этот путь. С другой стороны, в этих землях должны быть и ангелы, и родники. Даже эта пустошь, где живут шакалы, принадлежит Господу. Мне нужно помнить об этом.

Заглянул Боутон-младший и поинтересовался, не хочешь ли ты поиграть в мяч. Ты хотел. Он загорел после работы в саду и выглядел

здоровым и приличным. Он учил тебя делать бросок с выносом, а от приглашения остаться на ужин отказался. Ты расстроился, и твоя мама, полагаю, тоже.

В этом теплом вечернем свете луна выглядит чудесно, как пламя свечи при свете утра. Свет внутри света. Это звучит как метафорическое описание какого-то явления. Как и многие другие слова. Ральф Уолдо Эмерсон в этом великолепен.

Мне представляется, что это метафорическое описание человеческой души, отдельный огонек внутри великого общего света существования. Или это похоже на поэзию внутри языка. Быть может, на мудрость внутри опыта. Или брак внутри дружбы и любви. Постараюсь не забыть рассказать об этом. Полагаю, в моих размышлениях об Агари и Измаиле найдется для этого место. Жизнь в пустынных землях, вероятно, есть средоточие того момента, когда их коснулась рука божественного Провидения внутри всего предопределенного порядка Мироздания.

Вчера как раз перед ужином зашел Джек Боутон. Он устроился на ступенях веранды и говорил о бейсболе и политике (он благоволил к «Янкиз» и, разумеется, имеет на это полное право), до тех пор пока аромат макарон с сыром не стал настолько навязчив, что мне пришлось пригласить его в гости. Вы с мамой до сих пор считаете его удивительным, этого Джона Эймса Боутона, с тихим голосом и манерой общения проповедника, а ведь он палец о палец не ударил, чтоб заслужить такой дар или научиться этому. Насколько я знаю, ни в коей мере. Он еще в детстве так говорил, и меня всегда это раздражало. Быть может, он этого не осознавал и просто вырос, не обращая внимания на сей факт. Но мне иногда кажется, что в этом есть некий намек на пародию. Интересно, он ведет себя так повсюду или только в моем присутствии и подле отца? Что я подразумеваю под манерой проповедника? Это умение держаться надлежащим образом и вести себя почтительно, но в то же время сохранять искренность и поддерживать авторитет, преисполняясь чувства собственного достоинства. Я так и не овладел этим искусством, в отличие от отца и Боутона. Мой дед, этот старый назаретянин, был великолепен в другом. Что касается именно проповедничества, я не видел мастера виртуознее, чем этот Джек Боутон, при его-то язычничестве. Твоя мама спросила, не хочет ли он вознести хвалу Господу, и он согласился, сделав это с таким простым изяществом, что оно показалось чрезмерным для обычных макарон с сыром.

Он упомянул, что я не заходил к его отцу уже несколько дней.

Действительно, и это было не случайно. Я думал, он задержится у отца лишь на пару дней. Мне всегда было крайне неприятно наблюдать их вместе. Я надеялся отсидеться дома, пока он не уедет, но он явно не собирался этого делать.

В былые дни я приходил на кухню и, проверив буфет и холодильник, как правило, находил кастрюли с супом или рагу или какую-нибудь запеканку. Это блюдо я либо подогревал, либо нет, в зависимости от настроения. Если я ничего не находил, то ел холодные запеченные бобы или бутерброды с яичницей, которые мне, между прочим, очень нравились. Иногда я находил на столе пирог или печенье. Пока я был в церкви или у себя в кабинете, кто-нибудь из женщин просто заглядывал за порог, оставлял для меня обед и уходил, а на следующий день хозяйка возвращалась, чтобы забрать свои сковородку, кухонные полотенца и другую утварь. Я находил и джем, и маринованные огурцы, и копченую рыбу. Однажды обнаружил таблетки для лечения печени. Это была странная жизнь со своими странными удовольствиями.

Потом мы с мамой поженились, и прихожанам было нелегко осознать, что они больше не могут уходить и приходиться, когда вздумается. Полагаю, они подозревали, что она не умеет готовить, а она и правда не умела. И они все приходили и приходили, оставляя кастрюли под дверью, пока я не понял, что это огорчает ее. Потом я поговорил с ними об этом. Как-то раз вечером я застал ее в кладовой в слезах. Кто-то пришел, поменял проводку и застелил полки новой бумагой. Хотя это и было сделано с благими намерениями, но выглядело неуважительно, я понимаю.

Я говорю об этом, потому что для меня было странно делить стол с тобой и Боутоном-младшим. Дело в том, что не так много лет назад я за тем же столом в темноте жевал холодную котлету из сковороды, в которой ее принесли, и слушал радио, но тут вошел старый Боутон, сел за стол и сказал: «Не включай свет». Я выключил радио, и мы сидели вдвоем, разговаривали и молились о Джоне Эймсе Боутоне и за Джона Эймса Боутона.

Но, быть может, и не надо тебе знать эту историю, а мне не следует ее рассказывать. Если все наладилось, какой в этом смысл? В случившемся нет ничего примечательного, на самом деле – это совершенно обычная история. Хотя сей факт ни в коем случае не может служить оправданием. Как часто люди рассказывают мне о грехах, которые совершили или от которых пострадали, и всякий раз я думаю: «Опять то же самое!» Я слышал, что в некоторых церквях на Юге прихожан обязывают публично

признаваться в самых тяжких грехах перед всей паствой. Иногда мне кажется, что было бы полезно открыть людям глаза на то, как стары и избиты эти позорные проступки. Это могло бы отвратить тех, кто уже встал на путь соблазна. Но у меня нет доказательств, подтверждающих, что это эффективно. Разумеется, бывают особые и смягчающие обстоятельства. В случае с Боутоном-младшим они действительно были особыми, но уж точно не смягчающими, насколько я могу судить. А судить я не могу или, скорее, не должен, согласно Священному Писанию.

Греховный проступок. Приверженность букве закона вместо истинной веры. Проступок никогда не бывает один. Бывает рана в плоти человеческой жизни, которая рубцует, когда заживает, а зачастую не заживает вовсе.

Избегайте проступков. Как насчет такого совета?

Мне нужно решить, что именно рассказать твоей матери. Я знаю, она недоумекает, в чем дело. Он очень мил с ней и с тобой. И со мной. И ни разу не назвал меня папой сегодня вечером, хвала небу. Он ведет себя столь почтительно, что мне хочется сказать: я не самый старый человек на свете. Что ж, я знаю, что слишком сентиментален в том, что касается определенных вопросов. Мне нужно попытаться проявить справедливость по отношению к нему.

Ты смотришь на него так, словно перед тобой Чарльз Линдберг^[17]. Он продолжает называть тебя младшим братом, и тебе это нравится.

Надеюсь, есть промысел Божий в том, что он явился прямо сейчас, когда мне и так есть чем заняться, ибо он привносит хаос в те самые моменты, когда хочется покоя.

Я не жалею. Или не должен.

Я думал о моей заупокойной проповеди, которую собирался написать, чтобы облегчить жизнь старому Боутону. Мне неплохо удастся имитировать его стиль. Он посмеется над этим.

Боутон-младший снова пришел сегодня утром и принес яблоки и сливы из их сада. Они с Глори навели там красоту. Оба славно поработали.

Я пытаюсь быть с ним чуть любезнее, чем раньше. Он как будто отступает, едва заметно улыбается и смотрит на меня так, словно думает: «Сегодня он со мной любезен! Что бы это значило?» И он смотрит мне прямо в глаза, как будто хочет, чтобы я знал, что он знает: это всего лишь спектакль, который его страшно забавляет. Полагаю, попытка – это и есть спектакль в каком-то смысле. Но что еще я могу сделать? Большинство людей вели бы себя с тобой совершенно нормально в таких ситуациях, независимо от их личных мыслей. Сомневаюсь, можно ли назвать это дьявольщиной, но, конечно, мне от этого не по себе, и я почти уверен: он к этому и стремится. А еще я полагаю, что он искренне забавляется. Поэтому я оставил на сегодня попытки изображать любезность, извинился и отправился проверить, как дела в церкви.

Я провел несколько часов в размышлениях и молитвах о Джоне Эймсе Боутоне, а также Джоне Эймсе, отце его души, как Боутон однажды назвал меня, хотя не могу поручиться за правдивость этой фразы, ибо отец всех душ – это Господь, и только он. Здесь есть о чем поразмыслить. Разумеется, не о том, что я должен обидеть или отвергнуть собственного сына, Боже упаси, но ведь ты тоже сын Господа, как и я, как и все мы. Я

должен быть милосерден. Единственная моя задача – проявлять милосердие. Определенно я должен как-то изобрести способ, как *думать* милосердно и о нем тоже, ведь он явно показывает, что видит меня насквозь. Я верю, что достиг определенных успехов в этой области благодаря молитвам, хотя многого мне только предстоит достичь, а значит, нужно молиться еще больше.

Я должен поделиться с тобой одним ценным советом. Я давал его многим, а мне – мой отец, а ему – его отец. Когда встречаешь другого человека (если тебе в принципе приходится общаться с людьми), это напоминает ситуацию, когда тебе задают вопрос. Так что ты должен подумать: «О чем Господь спрашивает меня в этот момент и в таких обстоятельствах?» Если нарвешься на оскорбление или противоречие, тебе прежде всего захочется возразить. Но если ты воспримешь произошедшее как послание Господа, которое должно принести тебе определенную пользу, если ты рассмотришь этот случай как возможность продемонстрировать преданность, шанс показать, что ты, пусть и в малой степени, способен проявлять милосердие, которое когда-то спасло и меня, тогда ты получишь возможность выбрать иную линию поведения, вместо того чтобы слепо поддаваться давлению обстоятельств. Ты будешь свободен поступать так, как считаешь нужным. В то же время ты освободишься от порыва, который привел бы к ненависти или негодованию в отношении этого человека. Он, вероятно, посмеялся бы над мыслью о том, что Господь послал его тебе для твоего (и его) блага, но в этом и заключается совершенство такого укрытия – тот факт, что обидчик и не подозревает об этом.

Я вспомнил об этом важном совете, после того как сам недавно не сумел последовать ему. Кальвин где-то утверждает, что все мы актеры, а Господь – наша публика. Эта метафора всегда казалась мне интересной, ибо она рисует нас художниками собственного поведения, а реакцию Господа – скорее эстетической, чем несущей в себе некую оценку, как обычно считается. Насколько хорошо мы понимаем нашу роль? Достаточно ли уверенно ее исполняем? Видимо, Бог Кальвина был французом, так же как мой был родом со Среднего Запада, хотя и воспитан в традициях Новой Англии. Что ж, все мы проливаем на эти важные вопросы столько света, сколько можем. И все же мне нравится образ Кальвина, ибо он предполагает, что Богу мы и правда можем нравиться. Мне кажется, мы слишком редко об этом задумываемся. Это помогло бы понять простые истины, поскольку мир предположительно существует для

улады Господа, не в самом простом смысле, разумеется, а подобно тому, как человек радуется одному *существованию* ребенка, даже когда тот огорчает его до глубины души. «У него есть своя голова на плечах», – говорил Боутон, когда его сын что-то замышлял. Для него это звучало как похвала. А вот у Эдварда, например, в самом деле *была* своя голова на плечах, голова, достойная уважения.

Хотя я не уверен, что и это правда. Я о том, что достойно уважения, разумеется. Но факт в том, что его ум сложился на основе определенного набора книг, так же как и мой – на основе другого. Хотя это не может быть правдой. Учась в семинарии, я прочитал все книги, о которых он упоминал, и все книги, которые попадали мне в руки и не были написаны на немецком, если мне казалось, что он мог их прочитать. Если у меня хватало денег, я заказывал по почте книги, которые, как я думал, он, возможно, соберется прочесть. Когда я привез книги домой, их начал читать и отец, и тогда это меня удивило. Кто знает, откуда берется чей-то ум. Это загадка. И все же Боутон прав. Джек Боутон – интересный образец.

Нужно еще много молиться, это наверняка, но сперва я, пожалуй, вздремну.

* * *

Меня мучает сильное желание рассказать тебе о Джеке Боутоне, чтобы предупредить. Тебя и твою мать. Теперь ты уже, вероятно, знаешь, что я часто ошибался и едва ли могу положиться на чувства в этом деле. И теперь по прошествии многих лет произошло столько всего, чего я предвидеть не мог, и ты знаешь, должен ли ты простить меня за то, что я предупредил тебя или простить за то, что не предупредил. Или, быть может, все сложилось так, что это не имеет никакого значения. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу.

Этот абзац и так похож на предупреждение. Вероятно, мне и твоей матери следует сказать не больше, чем я написал. Он человек не самых высоких моральных принципов. Берегитесь его.

Если он продолжит приходить, полагаю, я так и поступлю.

Я не писал тебе день или два. Мне пришлось пережить пару трудных ночей. Чувство беспокойства и проблемы с дыханием. Я решил, что у меня есть два варианта: 1) продолжать изводить себя или 2) довериться Господу. Нет земного решения для проблем, которые стоят передо мной. Но я могу преумножить их, как мне кажется, если буду слишком много думать о них. Так что больше ни слова об этом. Сегодня «Янкиз» играют против «Ред

сокс». Это весьма удачно, поскольку должна получиться отличная игра, и мне все равно, кто выиграет. Так что я не буду сильно переживать при просмотре. (Теперь у нас есть телевизор – подарок от прихожан, которые преподнесли его мне специально для того, чтобы я смотрел бейсбол. Я так и сделаю. Но по сравнению с радио он кажется таким неубедительным.)

Мама отправила тебя к соседям, чтобы ты не докучал мне, как она говорит. И поэтому я задумался о том, какое впечатление произвел на нее сегодня утром. Бедная женщина очень бледна. Она спала не лучше, чем я. Вчера в гостиной устанавливали телевизор, поэтому весь день кто-то лазил по крыше, налаживая антенну. Молодые люди ужасно интересуются подобными новшествами. Они приходят в восторг, делая добрые дела, связанные с опасностью и чем-то необычным. Я помню, я помню.

Твоя мать принесла вниз мои письменные принадлежности и книги, которые обнаружила у меня на столе, а кто-то принес маленький столик для таблеток, очков и стакана воды. На тот случай, если все правда так серьезно, как, судя по всему, считают многие. Сам я в это не верю, но, быть может, я заблуждаюсь.

Я заснул прямо в кресле и, пробудившись, почувствовал себя намного лучше. Я пропустил восемь с половиной иннингов, и в конце девятого ничего интересного не произошло («Янкиз» вели со счетом четыре – два), однако начало было хорошим, так что я с нетерпением жду других матчей в этом сезоне, если Господь даст мне такую возможность. Твоя мама тоже уснула, сидя на коленях на полу и положив голову мне на колени. Мне пришлось довольно долго сидеть неподвижно, пока я смотрел фильм про англичан в макинтошах, которые собирались сделать что-то нехорошее с участием французов и поездов. Когда она проснулась, то так обрадовалась, увидев меня, словно я очень долго отсутствовал. Потом она сходила за тобой, и мы поужинали в гостиной. Выяснилось, что кто бы ни принес столики, он принес по одному для каждого из нас. Поскольку ужин состоял из трех видов запеканок с двумя видами фруктового салата, с тортом и пирогом на десерт, я пришел к выводу, что моя паства, которая привыкла бороться с жизненными невзгодами при помощи гастрономических изысков, услышала сигнал бедствия. Принесли даже салат из бобов, который навеял мне мысли о пресвитерианстве, так что беспокойство в итоге возобладало. Можно было подумать, что я уже умер. Мы оставили его на обед.

Мы хорошо провели время втроем за просмотром телепередач. Показывали жонглеров, и обезьянок, и чревовещателей, и всяческие танцы.

Ты попросил разрешения попробовать пару кусочков с моей тарелки, чтобы выбрать, какую запеканку и салат хочешь. Как любой ребенок, ты терпеть не можешь смешивать еду у себя на тарелке. Я давал тебе с вилки один кусочек за другим по очереди – сначала стряпню миссис Браун, потом миссис Макнилл, миссис Прай, миссис Доррис и миссис Терни, а ты угадывал. Ты говорил: «Я *все еще* не разобрался!» – и мы повторяли процедуру. Так ты и шутил, пока все не съел. Чудесная была шутка. Я вспомнил тот день, когда причастил тебя. Интересно, думал ли ты об этом тоже.

Сегодня с утра я на пару часов ушел в церковь, а когда вернулся домой, обнаружил, что большую часть моих книг перенесли в гостиную вместе с рабочим столом и стулом, а телевизор отправился наверх. Это была идея твоей матери, но я знаю, что именно Боутон-младший поднимал и таскал вещи или помогал ей с этим. Я не злюсь из-за этого. В мои годы я просто отказываюсь проявлять злость. Это было сделано с благими намерениями. Все равно пришлось согласиться бы на это рано или поздно. И правда, если мне придется провести сумерки в щекотливом положении в обнимку с тем или иным человеком, я предпочел бы Карла Барта Джеку Бенни. Но все же у меня есть мой кабинет. Я чувствую, что пока не готов от него отказаться. Джек Боутон в моем кабинете. Быть может, он относил вниз даже этот дневник. После того как я с большим беспокойством обыскал все вокруг и два раза сходил наверх, я нашел его здесь, в нижнем ящике рабочего стола, куда никогда его не клал. Мне показалось, он насмехается надо мной, ведь он специально постарался его от меня спрятать. Я знаю, мои рассуждения кажутся нелогичными.

Сегодня я читал проповедь по истории Агари и Измаила. Я отошел от текста чуть больше, чем обычно, и, возможно, это было не самым мудрым решением, поскольку я очень плохо спал накануне. Не то чтобы я не мог заснуть. Я предпочел бы бодрствовать. Я просто лежал, беспомощно сражаясь с собственными страхами. И многие из них я мог бы выкинуть из головы, если бы умел использовать голову по назначению. Но так получилось, что меня разбил какой-то унылый монотонный паралич. Борьба с параличом – штука странная: сомневаюсь, что за ночь я пошевелил рукой или ногой, но, когда проснулся, испытал страшную усталость, утомление в глубине души.

Потом на службу явился Боутон-младший. Такого я точно не ожидал. Ты увидел его и поманил сесть подле тебя, и он прошел по коридору и сел

рядом. Твоя мать взглянула на него и поздоровалась, больше она на него не посмотрела. Ни разу.

Я начал с того, что указал на сходство истории Агари и Измаила, сосланных в пустыню, и Авраама, ушедшего с Исааком, чтобы принести его в жертву, как он тогда думал. Я хотел подчеркнуть, что Авраама, по сути, призывали принести в жертву обоих сыновей, и в обоих случаях Господь в решающий момент посылал ангелов, которые вмешивались в происходящее и спасали детей Авраама. Почтенный возраст Авраама – важный элемент обеих историй не только потому, что он едва ли мог надеяться на появление новых детей, и не потому, что поздний ребенок для отца – настоящая драгоценность, но и по той причине, что любой отец, как я думаю, а в особенности отец старый, должен в конце концов отправить дитя в пустыню и положиться на милость Господа. Можно сказать, это даже жестоко для одного поколения – порождать другое, притом что родители могут так мало сделать для своих детей, для их безопасности, даже если обстоятельства складываются самым лучшим образом. Нужна великая вера, чтобы вот так вручить дитя в руки Господа, положившись на Его родительскую заботу и помощь Его ангелов в пустыне.

Я заметил, что и самого Авраама отправили в пустыню и велели покинуть отчий дом, что это тянулось из поколения в поколение и лишь по милости Божией все мы становимся проводниками Его промысла и субъектами отцовства, которое в конечном счете всегда принадлежит Ему одному.

На этом этапе я отклонился от текста и упомянул, что для старого пастора беспокоиться о своей церкви естественно, ведь сам Христос был пастором для Его прихожан и верно пребывал с ними, пока одно поколение сменяло другое. Я подумал, что это хорошая мысль, но одна из женщин принялась плакать, и я попробовал сменить тему. Я задал вопрос о том, почему Господь попросил смиренного Авраама совершить два настолько жестоких на первый взгляд поступка: отправить ребенка с матерью в пустыню и привести ребенка к алтарю для жертвоприношения. Это пришло мне на ум, потому что я часто задумывался об этом. Потом захотелось попытаться ответить.

Я пришел к мысли, что это два единственных случая в Священном Писании, когда отец явно не добр к своему ребенку. Господь может спросить: «Который из вас, если бы сын попросил хлеба, дал ему камень?» И это был бы риторический вопрос. Все знают по опыту, что среди нас есть много отцов, которые плохо относятся к детям или бросают их. Именно в тот момент я заметил, что Боутон-младший сидит и ухмыляется, глядя на

меня. Бледный, как полотно, и с ехидной улыбкой. Именно эту тему я никогда не выбрал бы, если бы знал, что он придет на службу. Хотя, если бы я придерживался написанного сценария проповеди, все оказалось бы не так плохо.

Жестокость в этих историях я списал на следующее: в них объяснялся тот факт, что дети часто становятся жертвами неприятия или насилия, и даже в данных обстоятельствах, которые Библия не одобряет во всех иных случаях, ребенок находится в руках Господа. И это правда, сказал я, независимо от того, несет ли ангел дитя домой к верному и любящему отцу или Он создает родник или останавливает нож, позволяя ребенку прожить отпущенные ему годы.

Не знаю, является ли это достаточным ответом на вопрос. Вопрос настолько сложен, что я сомневаюсь, можно ли вообще его поднимать. Я решился взяться за него лишь потому, что слишком часто люди обращались ко мне с просьбами разъяснить им это. Что бы они ни думали, мой ответ лично меня не удовлетворил ни разу.

Я всегда переживал вот о чем: когда я говорю, что униженные и оскорбленные находятся в руках Господа, некоторые люди могут решить, как будто оскорбить кого-то или обидеть – значит совершить поступок не столь серьезный или греховный. Все учение Библии явно противоречит этой мысли. Поэтому я процитировал слова Господа: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Это сильные слова, но в них истинный смысл.

Боутон-младший все сидел и ухмылялся. Кое-что всегда казалось мне странным. Он воспринимает слова так, словно это действия, не вслушиваясь в *значение* слов, как другие люди, а просто решая, враждебны ли они, и если да, то насколько. Он решает, насколько эти слова угрожают ему или травмируют его, и реагирует соответственно. Он видит наказание в любых ваших словах, как если бы вы выстрелили в него. Как если бы вы прошептали ему на ухо оскорбление.

Опять же, как говорилось, я не ожидал, что он явится на эту службу. Более того, на свете есть много людей, которые воспитывают детей совсем не так, как полагается, так что, даже когда я отклонился от текста (хотя я согласен с тем, что мои импровизированные замечания были обусловлены его нахождением в храме подле моей жены и ребенка да еще с таким выражением лица), он проявил страшный эгоизм, приняв мои слова исключительно на свой счет – это четко просматривалось.

Твоя мать явно нервничала. Быть может, потому что ей показалось, как

будто я говорю о нашей ситуации – о ней и о тебе, или потому что мне было сложно собраться с мыслями, или потому что чувства обуревали меня больше, чем обычно. А если я выглядел так же, как чувствовал себя на протяжении всей проповеди, и переживал хоть половину того, что испытывал на самом деле, то действительно возникали причины для серьезных опасений.

Однако мне пришло в голову, что Боутон-младший поделился с ней своей версией событий, так что она различила намеки в моей проповеди, истолковав их с его точки зрения. Не знаю, когда он мог успеть поговорить с ней. Если он хотел использовать возможность, он нашел бы ее, я полагаю. Мне показалось странным, что она ни разу не взглянула на него. Если она хотела показать, как будто не понимает, о ком идет речь в проповеди, тогда ее поведение понятно. У меня возникало ощущение, как будто другие прихожане подумали, что проповедь обращена к нему. Это было бы крайне нежелательно. Я должен надеяться, что она принесет им хоть какую-то пользу. Я и правда не понимаю, почему он не молится с пресвитерианами.

А теперь я помолюсь. Сначала, думаю, я все же посплю. Попытаюсь поспать.

Еще одно утро, хвала Господу. И я отлично поспал, и не испытываю никакого дискомфорта. Одна прихожанка заглянула после завтрака и попросила зайти к ней домой. Это пожилая дама, которая недавно овдовела и живет в полном одиночестве. Некоторое время назад она переехала с фермы в городской дом. Никогда не догадаешься, какие тревоги или страхи посещают таких людей, и я навестил ее. Оказалось, проблема в ее кухонной раковине. В явном смятении из-за того, какая жуткая путаница может случиться в созданной Господом вселенной, она сообщила мне, что горячая вода льется при повороте «холодного» вентиля, а холодная – «горячего». Я предложил ей привыкнуть, что красный означает холодную воду, а синий – горячую, но она заявила, что привыкла, когда все работает, как надо. И я сходил домой за отверткой, вернулся и поменял вентили. Она сказала, что, наверное, такой вариант ее устроит, пока она не найдет настоящего водопроводчика. О, эта церковная жизнь! Думаю, эта дама и так подозревала, что я отлыниваю от исполнения определенных доктринальных обязанностей, а теперь она точно в этом уверится. Зато, услышав мой рассказ, твоя мама расхохоталась, так что мои усилия не пропали даром.

Сегодня вечером я закончил читать «Тропинку одинокой сосны». Это

взбудрило меня ненадолго. Старик замечает девушку с кем-то ее возраста и говорит, как хорошо они друг другу подходят, а потом он стареет, ветшает и беднеет, а она все так же красива, разумеется. Но все кончается хорошо. Она любит только его и собирается любить всегда. Сомневаюсь, что книга показалась бы мне стоящей внимания, если бы не особый интерес к этому моменту. Да и потом мне действительно хотелось знать, почему роман так понравился твоей матери. Благослови ее Господь, она чудесная женщина. Большую часть книги я прочитал вчера вечером, после чего не мог уснуть, размышляя о сюжете, – я прокрался в кабинет и читал почти до рассвета. А потом отправился в церковь, чтобы встретить рассвет там, ибо это умиротворение помогает мне восстановиться лучше, чем любой сон. Как будто в том помещении есть некий запас тишины, словно любое безмолвие, попадая внутрь, остается там. Помню, в детстве мне приснился сон: моя мама пришла в спальню, села на стул в углу, сложила руки на коленях и сидела там, ровно и спокойно. А я чувствовал себя под защитой и испытывал безмерное счастье. Когда я проснулся, мама была там и сидела на том самом стуле. Она улыбнулась мне и произнесла: «Я просто наслаждалась тишиной». В церкви меня посещает то же чувство, как будто я мечтаю о том, что сбудется.

Меня изумляет, что твоя мать не смогла иными словами еще искреннее передать свои чувства, а просто полюбила эту ничем не примечательную книгу настолько, что я обратил на это внимание и тоже прочитал ее. Так само провидение рассказало мне то, что не могла рассказать она.

Жаль, я не могу уподобиться старым викингам. Тогда дьяконы внесли бы меня в церковь, положили у стола для причастия, а потом подожгли старый корабль, отправив меня в плавание к вечности. Хотя на самом деле я надеюсь, что они сохранят этот стол. Разумеется, сохранят.

Даже святую святых потревожили. Глубокая тьма растворилась в обычном дневном свете, и от этого тайна Господа стала еще великолепнее. Так и мое скопление тишины могут нарушить, но от этого великое безмолвие не обеднеет. И хвала Господу, что они решили дождаться моей смерти.

Иногда я почти забываю, с какой целью пишу эти строки: для того чтобы рассказать тебе о том, что я мог бы рассказать, если бы ты рос на моих глазах, и о том, чему отец должен учить сына. Разумеется, я говорю о Десяти заповедях и знаю, что особое место в твоём сердце займет заповедь пятая: почитай отца твоего и мать твою. Я обращаю на нее особое

внимание, поскольку соблюдение шестой, седьмой, восьмой и девятой заповедей диктуют нормы уголовного и гражданского права, а также социальные устои. А вот десятая заповедь неприменима в принципе, даже сама по себе, даже когда соблюдать ее пытаются лучшие мира сего, так что ее постоянно нарушают. Я откровенно рассказал тебе, как переживал, наблюдая браки, которые скрашивали многочисленные дети, особенно в случае с Боутоном. Не потому что я хотел просто детей, а потому что я хотел собственных детей. Я верю, что грех зависти – это тот самый укол негодования, который ощущаешь, когда люди, которых ты любишь больше всего, имеют то, чего у тебя нет. С точки зрения любви к ближнему своему как к самому себе (Левит, 19:18), ничто не делает грехопадение человека столь очевидным, как зависть. Ты чувствуешь ее в сердце, в самих костях. В этом смысле она управляет тобой. Мне никогда на самом деле не удавалось соблюдать эту заповедь. Не возжелай. Я избегал явного непослушания, держа свои мысли при себе, как я уже объяснял. Уверен, я исполнял бы свой долг более успешно, если бы просто принял зависть в себе как нечто неизбежное, как недостаток моей природы, как и поступил Павел, судя по всему. «Радуйтесь с радующимися» – мне это слишком часто давалось нелегко. Мне гораздо лучше удавалось плакать с плачущими. Я не шучу, хотя это звучит забавно, когда я задумываюсь об этом.

Если бы я жил, ты учился бы по моему примеру – как хорошему, так и плохому. Так что я хочу рассказать тебе о том, где я потерпел неудачу, если эти неудачи действительно имели значение и ощутимые последствия. Эта, несомненно, одна из них.

Но позволь мне отступить от темы и все-таки отдать должное твоей матери. Я думаю, это крайне важно, что пятая заповедь находится между теми, которые учат нас правильно относиться к Господу, и теми, которые предписывают правила поведения по отношению к другим людям. Я всегда недоумевал, нужно ли читать заповеди по порядку и расположены ли они по убыванию важности. Если это верно, то отдать должное твоей матери важнее, чем воздержаться от убийства. Это кажется удивительным, хотя я продолжаю размышлять на эту тему.

Или же можно рассматривать их как правила, регулирующие разные сферы жизни, не сравнимые по важности, так что дань уважения твоей матери может оказаться скорее последней в ряду, посвященном правильному богослужению, чем первой из серии, относящейся к правильному поведению. Полагаю, эта точка зрения вполне имеет право на существование.

Апостол Павел говорит: «Будьте братолюбивы друг к другу», а также: «В почительности друг друга предупреждайте»^[18]. Заповедь гораздо уже. Старые комментаторы обычно говорят, что под «отцом» и «матерью» подразумевается любой человек, имеющий над тобой власть. Но именно так люди и толковали заповедь долгое время, что породило много бед: рабство считалось «патриархальным», и так далее. Любой, у кого есть над тобой власть, – твой родитель! Тогда мир полон свирепых и жестоких родителей. «Что вы угнетаете бедных?»^[19] Разве в тексте говорится: «Детям будет дано только хорошее, а *родители* будут отосланы прочь с пустыми руками?» Нет, потому что родители не приравниваются к богатеям или тем, кто обременен властью. Нигде в Священном Писании не упоминается отец, который относился бы плохо к своему ребенку, зато богатые и власть имущие гораздо чаще предстают в свирепом обличье, чем обычные люди. И, если дань уважения к власти означает лишь, что ты не стараешься всеми силами бросить ей вызов, это действительно обесценивает само понятие дани уважения, какое относилось бы к фактической матери. Да и в конце концов, в самую середину Десяти заповедей просто не могли поместить что-то не важное и не прекрасное.

Я верю, что пятая заповедь была написана на первой скрижали и располагалась между правилами, относящимися к богослужению, ибо правильное отношение к Господу есть правильное восприятие (особенно хорошо об этом написано в первой главе Послания к Римлянам), и здесь Священное Писание приводит правильное восприятие людей, которых ты знаешь истинно и до глубины души. Возможность отдать дань уважения разнится в зависимости от обстоятельств, так что ты можешь лишь исполнить общее обязательство и отдать дань уважения в особых случаях взаимной близости и понимания. Если покажется, будто имеет место некий перекосяк в пользу родителей, то я снова подчеркну, что в Библии именно родители последовательно отдают дань уважения детям. Думаю, в этой связи резонно заметить, что не Адам, а именно Господь упрекает Каина. Илий никогда не упрекает своих сыновей, а Самуил – своих. Давид никогда не упрекает Авессалома. В конце концов, бедный старый Иаков упрекает сыновей и в то же время благословляет их. Удивительно, если задуматься об этом.

В этом и есть назидание – в роли блудного сына, согласно Евангелию. Нужно спросить Боутона, заметил ли он это. Разумеется, заметил, конечно же. Я должен еще над этим подумать.

Здесь я хочу сказать, что благодаря великой доброте и промыслу

Господа почти каждому из нас есть кого почитать. Для ребенка это родители, для родителя – ребенок. Я глубоко уважаю тебя за несгибаемый характер и доброту души, да и твоя мать любит тебя от всего сердца и невероятно гордится тобой. Она пестовала почти каждое мгновение твоей жизни и любит тебя так же, как Господь, до мозга костей. Так что речь идет о воздаянии должного ребенку. Ты видишь, как богоугодно любить само *бытие* другого человека. Твое *существование* приносит нам радость. Надеюсь, тебе никогда не придется алкать появления ребенка, как это было со мной, зато какое счастье я испытал, когда ты наконец родился. И вот уже почти семь лет я ощущаю милость Господа, ибо он дал мне возможность наслаждаться общением с тобой все это время.

А вот обязанность отдавать дань уважения родителям, я полагаю, должна быть закреплена в Заповедях, ибо родитель являет собой большую тайну и в некотором смысле предстает как незнакомец. Мы прожили уже столько лет, и это справедливо даже по отношению к твоей матери, которая, хотя и на целое поколение моложе меня, уже имела за плечами солидный багаж, когда приехала сюда. Я имею в виду только то, что ей было уже хорошо за тридцать, когда мы поженились. Как я уже сказал, думаю, она много страдала в эти годы. Я никогда не спрашивал ее об этом, но если я что и понял в жизни, так это как выглядит глубокая, давняя печаль, с которой человек уже сроднился. И, увидев ее, я подумал: откуда ты, мое бедное дитя? Она вошла, когда я читал первую молитву, села в последнем ряду и посмотрела на меня. С того самого момента я видел только ее лицо. Однажды я слышал, как кто-то сказал, что христиане превозносят печаль. Это неправда. Но мы действительно верим, что в ней есть некая священная тайна, – такое замечание вполне справедливо. Есть в лице твоей матери что-то такое, что манит меня, – некое мерило истины, которое проверяет смысл моих слов. У нее изящное, очень мудрое лицо, но грусть настолько сливается с мудростью, так сказать, что они представляются единым целым. Я верю, что в печали есть достоинство – просто потому, что Господу угодно, чтобы так было. Он во веки веков превозносит униженных. Это не означает, что можно причинять страдания другим или искать их, когда можно их избежать, и никакой очевидной задачи за этим не стоит. Ценить страдания сами по себе – занятие странное и опасное, так что я разъясню свою позицию по этому вопросу максимально четко. Я говорю лишь о том, что Господь принимает сторону страдальцев, а не тех, кто причиняет зло. (Надеюсь, ты слышал о пророках, и об Исае в частности.)

Что ж, твоя мама никогда о себе не рассказывает и никогда не

признается, что ей довелось испытать настоящее горе. В этом ее храбрость и ее гордость; я знаю, ты отнесешься к этому с уважением и в то же время запомнишь, что воистину великая сердечность – неотъемлемая составляющая великой доброты. Ибо нет у человека такой храбрости, если она ему не нужна. Но, возможно, ты не понимаешь этого, пока молод. Я часто переживал из-за того, как люди в церкви ведут себя с ней. Она держит дистанцию, она не может иначе. Так что они тоже относятся к ней прохладно. С другой стороны, я часто думал, что мы с ней хорошо подходим друг другу, независимо от того, как мы смотримся вместе, ведь я достаточно прожил, чтобы понять ее. Не то чтобы они суровы к ней, напротив, готовы помогать всем, что она готова принять. Но большинство из них не видят в ней годы ее молодости, как вижу я. Полагаю, она вполне может казаться им немного упрямой.

Я написал ей письмо с указаниями. И этот дневник подколою к нему тоже. Долгие годы я раздавал людям деньги, не крупные суммы, но солидную часть моего заработка. Как правило, я сочинял рассказы о забытых запасах и анонимных пожертвованиях. Сомневаюсь, что многие из них верили мне. В то время я и не подозревал, что у меня когда-нибудь появится жена или сын, так что особо не задумывался об этом, как я уже говорил. Никаких записей у меня не сохранилось, к тому же я слабо помню, кому именно давал деньги и при каких обстоятельствах. Кроме того, я покупал что-то для церкви – краску, оконные стекла и так далее. Бывали и в наших краях тяжелые времена, когда я не мог заставить себя попросить кого-либо обеспечить то, что мог обеспечить сам. Я говорю это только потому, что хочу, чтобы ты знал: любую помощь, которую ты будешь получать, даже если речь идет о значительных суммах, ты можешь воспринимать не как благотворительность, а как *возврат долга*. Я никогда не считал, что паства у меня в долгу, но факт в том, что я отпустил достаточно хлеба по ее водам, и какой бы хлеб ни вернулся к тебе, считай, что ты принимаешь его из моей руки. Милостью Божией, разумеется.

Однако я хотел сказать кое-что о пятой заповеди и о том, почему о ней надлежит думать как о заповеди с первой скрижали. Коротко говоря, правильное богослужение обязательно, поскольку оно формирует в рассудке правильное понимание Господа. Господь отделяется от всех, Он единственный, и Его нельзя воображать как одно явление из ряда подобных (идолопоклонство – вот в чем так и не разобрался Фейербах). Его имя стоит особняком. Оно священно (я так понимаю, в этом находит отражение священность Слова, творческого изречения, которое не может

быть выражено иным языком). Тогда воскресенье отстоит от всех прочих дней в ознаменование торжества времени и срока, вероятно, над всеми созданиями, которые населяют измерение времени. Потому что «начало», которое можно назвать семенем времени, – условие для сотворения всего, что следует далее. Потом выделяются мать и отец, как видишь. Мне кажется, это похоже на пересказ Сотворения мира. Сначала был Господь, потом Слово, потом День, потом Мужчина и Женщина, после этого – Каин и Авель – «Не убий» – и все грехи увековечены в этих запретах, как преступления увековечены в законах, направленных на их искоренение. Так, вероятно, скрижали различаются по обращению к вопросам вечным и временным.

Что в книгах опущено, так это идея отца и матери в качестве Общемировых отца и матери, дражайшего Адама Господнего и Его любимой Евы, то есть основоположников человечества, сотворенных Его рукой. Во всех заповедях прослеживается тенденция выделения определенных явлений для более полного осознания их святости. Каждый день священен, но воскресенье выделяется для осознания святости времени. Каждый человек достоин почитания, но сознательная культура почитания постигается через отделение отца и матери, которые, как правило, обременены тяжким трудом и могут быть больны, или язвительны, или невежественны, или властолюбивы. Поверь мне, я знаю, как тяжело соблюдать эту заповедь. Но еще я верю, что награда за послушание очень велика, ибо в основе настоящего почитания всегда лежит ощущение священности человека, на которого оно направлено. В частном случае с твоей матерью, я знаю, что если ты будешь внимателен к ней, то ощутишь ее великую нежность. Когда любишь кого-то до такой степени, как ты – ее, то видишь любимого человека глазами Господа, и это присуще природе Господа, и всего человечества, и самого Бытия. Вот почему пятая заповедь должна размещаться на первой скрижали. Я убедил себя в этом.

Я неплохо поспал. По понедельникам я остаюсь дома, когда могу, это мой традиционный день для отдыха. Так что утром у меня была возможность подумать и помолиться, а также немного разобрать полки, и пока занимался этим, я задумался над следующим: что я хотел бы сказать себе, если бы пришел сам к себе за советом? На самом деле я делаю это регулярно, как любой здравомыслящий человек, но в моих мыслях прослеживается одна тенденция: при решении спорных вопросов каждая

часть уравнения уравнивает другую почти математически, это правда, но, с другой стороны, хотя я и обнаруживаю некое равенство умозаключений, интересное по своей сути, оно не позволяет ничего решить. Если я начну записывать размышления на бумаге, вероятно, я смогу мыслить с большей строгостью. Там, где требуется решение, оно должно быть возможно в принципе. На самом деле непринятие решения – это один из двух вариантов, которые у меня есть, так что для решения должен отводиться свой момент. То есть поведение с целью уклониться от принятия решений, предпринять какое-либо действие равносильно решению не предпринимать никаких действий. Если бы я мог разместить в одном конце всего континуума возможностей решение не предпринимать никаких действий, а в другом – решение действовать, то все пространство между ними отошло бы к уклонению от решения, что, по сути, означает отсутствие действий. Полагаю, это вполне логично.

Как бы там ни было, речь о том, что я должен сделать особый нейтрализующий акцент на возможности совершения действий, которых я боюсь, а именно – рассказать твоей матери то, что должен.

Вопрос: Чего ты боишься больше всего, странник, стоящий на пороге смерти?

Ответ: Я, странник, стоящий на пороге смерти, боюсь оставить мою жену и ребенка в неведении в обществе человека, моральные качества которого вызывают большие вопросы.

Вопрос: Что заставляет тебя думать, будто его общение с ними или влияние на них окажется настолько существенным, что сможет им навредить?

Что ж, отличный вопрос, тот самый, который я никогда не додумался бы сформулировать сам. Ответ прозвучал бы следующим образом: он пару раз заходил к нам и однажды был в церкви. Не сильно впечатляет. Правда в том, что, когда я стоял там, на кафедре, и смотрел на вас троих, вы походили на красивую молодую семью, и мое возмущенное старое сердце восстало у меня в груди, бывшее томление, которое я тщательно скрывал, как я уже говорил, охватило меня. Я почувствовал себя точно так же, как чувствовал, когда наблюдал красоту жизни других людей, оскорблявшую и обижавшую меня. А еще я чувствовал себя так, словно смотрел на вас из могилы.

Что ж, слава Богу, я тщательно все это обдумал.

И раз уж я говорю честно, добавлю, что на протяжении, быть может,

последних двух месяцев, я ощутил некие перемены в отношении людей ко мне. Вероятно, это лишь отражение того, как я веду себя с ними. Быть может, я не понимаю столько, сколько должен. Быть может, я не слишком логичен в своих высказываниях.

Правда в том, что я не хочу быть старым. И, разумеется, не хочу умирать. Я не хочу, чтобы ты запомнил меня трясущимся плешивым стариком. Я отдал бы все, чтобы ты мог увидеть меня в молодости или зрелости, это не имеет особого значения. Я еще был подтянут и бодр, когда мне перевалило за шестьдесят. В этом я пошел в деда и отца. Я никогда не был худощав, как они, зато я был сильным и очень крепким. И даже сейчас, если бы сердце не подводило меня, я мог бы сделать еще очень много.

Я не должен винить себя за то, что испытываю такие чувства. Господь плакал в Саду в ночь предательства, как я много раз говорил прихожанам. Сейчас во мне говорит не нерастратенное язычество, заставляя бояться того, чего я должен ждать с нетерпением, хотя моя печаль определенно сочетается с постыдными чувствами, чувствами совсем иного рода. Конечно, конечно. «Кто избавит меня от сего тела смерти?»^[20] Что ж, я знаю ответ на этот вопрос. «Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока»^[21]. Я воображаю некий восторженный пируэт, нечто вроде полета к тому рубежу, когда ты был так молод, что твое тело еще почти не знало, что есть усилие. Павел просто не мог иметь в виду что-то *кардинально* иное. Так что следует ждать именно этого.

Я говорю это, потому что действительно чувствую себя так, словно угасаю, причем не в медицинском смысле. И я чувствую себя так, как будто меня вычеркнули из жизни, как будто я какой-то отставший солдат и люди забывают подождать меня. Вчера ночью мне приснился сон. Во сне я был Боутоном, и все события происходили с ним. Бедный старый Боутон.

Сегодня утром ты пришел ко мне с рисунком, напрашиваясь на комплименты. Я как раз добрался до конца одной журнальной статьи, задержавшись на последнем абзаце, так что не уделил тебе должного внимания сразу же. Твоя мать произнесла самым милым и печальным тоном: «Он тебя не слышит». Не «не слышал», а именно «не слышит».

Статья оказалась очень интересная. Она была напечатана в «Ледис хоум джорнал» – старом выпуске, который Глори обнаружила в кабинете отца и принесла мне почитать. Там была записка – «Показать Эймсу». Но в итоге он оказался в куче других вещей, потому что дело было еще в 1948

году. Статья называется «Господь и американцы», и в ней утверждается: девяносто пять процентов из нас заявляют, что веруют в Господа. Но наша религия совершенно не соответствует стандартам писателя. С его точки зрения, все эти люди в церквях – книжники и фарисеи. Мне кажется, он и сам отчасти книжник, раз уж так презрительно отзывается о других и упрекает их. Как отличить книжника от пророка, которым он явно себя считает? Пророки любят людей, которых наказывают, а писателю, как мне кажется, это чувство не знакомо.

Странность фразы «верить в Бога» заставляет меня задуматься о первой главе Фейербаха, которая на самом деле не столько посвящена религии, сколько неуклюжести языка. Фейербах не видит возможностей существования за пределами этого мира, под которым я подразумеваю реальность, объемлющую настоящую, но превышающую ее, подобно тому, как этот мир объемлет и превышает понимание Соупи о нем. Возможно, Соупи – жертва идеологического конфликта, как и все мы, когда ситуация выходит из-под контроля. Она, несомненно, оценила бы ситуацию с кошачьей точки зрения, не принимая во внимание диктатуру пролетариата или Манхэттенский проект. Ее неадекватные представления никоим образом не отражали бы реальную ситуацию.

Такая трактовка эпатирует и не очень точно отражает мои мысли. Я не намекаю на то, что реальность есть всего лишь расширенная или экстраполированная версия этой реальности. Если задуматься, как предмет, который мы называем камнем, отличается от предмета, именуемого мечтой, то степень их непохожести в известной нам реальности крайне велика. Я говорю о том, что существует еще большая, абсолютная непохожесть, посредством которой мы существуем, хотя наша человеческая природа создает в наших головах исключительно ограниченное и специфическое понимание того, что есть существование. Однажды я проповедовал об этом на тему «Ваши мысли – не наши мысли»^[22]. Это было больше двух месяцев назад. Вероятно, в прошлом году. В то время я думал, что это озадачит некоторых людей, но остался доволен своим выступлением. Мне даже хотелось бы, чтобы Эдвард его услышал. Я чувствовал, что смог кое-что прояснить. Помню, одна дама в самом деле спросила меня, выходя из церкви: «Кто такой Фейербах?» Так я осознал, что мне всегда было свойственно замыкаться в собственных мыслях. Твоя мама хотела назвать кошку Фейербахом, но ты настоял на Соупи.

Быть может, правда в том, что мой интерес к абстракциям, который мне поначалу прощали в связи с молодостью, потом – в связи с

эксцентричностью, теперь прощают в связи со старостью, а это означало бы, что люди перестали пытаться узреть смысл в моих словах, как они старались раньше. И это была бы наихудшая форма прощения из всех. Раньше у меня была одна из тех книг, в которых встречается небольшая смешная история на тему проповеди. Я помню, что мне ее подарили, однако имени на ней не значилось. Сколько лет назад я ее получил? Вероятно, я докучаю людям уже много лет. Странно находить утешение в этой мысли. Всегда появлялось нечто, о чем, по моему разумению, я должен был поведать пастве, даже если никто не слушал или не понимал. Прежде всего, это тот факт, что многие нападки на веру, которые стали масштабнее и популярнее за последний век или два, на самом деле не имеют под собой никаких оснований. Я должен донести это до *тебя*, ибо все остальное, что я рассказывал тебе и им, теряет всякий смысл и право на внимание публики, если этот факт не установить.

Если бы я просмотрел мои старые проповеди, то нашел бы парочку, где касаюсь этого вопроса. Поскольку я приближаюсь к концу отпущенного мне срока и пределу возможностей, быть может, именно этот способ наилучшим образом подойдет для того, чтобы раскрыть для тебя эту тему. Мне следовало озадачиться этим еще давным-давно.

Сегодня днем мы сходили к Боутону вернуть ему журнал. Почти всю дорогу ты держал меня за руку. Вокруг порхали семена молочая, которые тебе страшно хотелось ловить, но ты вернулся и снова взял меня за руку. Это сложная задача – проявлять терпение ко мне, к тому, как я волочу ноги в последнее время, но я всего лишь пытаюсь беречь сердце. Этим летом выдалось так много хороших ясных дней, что люди стали поговаривать о засухе. Пыль и кузнечики тоже хороши, но в разумных пределах. Что бы ни ждало нас впереди, мне жалко это пропускать.

Боутон сидел на веранде, слушая, или, как он говорил, «чувствуя ветер». Глори принесла нам лимонаду и села с нами, и мы немного потолковали о телевидении. Твоя мама тоже его смотрит. А вот мне оно не очень нравится. Не таким должно быть мое последнее впечатление об этом мире.

Выяснилось, что, когда Глори нашла ту статью и поинтересовалась у отца, хочет ли он еще показать ее мне, он попросил ее прочитать ему, а потом рассмеялся и сказал: «О да, да, преподобный Эймс захочет на это взглянуть». Он знает, что может привести меня в негодование, и уже начал веселиться, предвкушая нечто интересное, как только я упомянул о статье.

Мы сошлись во мнениях, что ее активно читали в обоих наших

приходах, потому что на одной странице также размещался рецепт заливного салата с апельсиновым желатином, фаршированными зелеными оливками и мелко нашинкованной капустой с анчоусами, который преследовал меня на протяжении последних лет моей пастырской жизни и который появляется в его доме всякий раз, когда он простужается. Следует издать закон, запрещающий размещение рецептов заливных салатов в пределах двадцати страниц от статьи на тему религии. В итоге я принес журнал обратно домой, так как подумал, что его можно использовать для проповеди.

Существуют два коварных мнения, с точки зрения христианства в современном мире. (Несомненно, их больше, чем два, но другим придется подождать.) Одно заключается в том, что религия и религиозный опыт есть определенного рода иллюзии (Фейербах, Фрейд и другие), а другое – в том, что религия сама по себе реальна, но *твоя* вера в то, что *ты* в ней участвуешь, есть иллюзия. Я думаю, из двух точек зрения вторая более коварна, поскольку прежде всего религиозный опыт подтверждает подлинность религии для целей отдельного верующего.

Но люди, обладающие хоть какой-то степенью религиозной чувствительности, всегда болезненно воспринимают обвинения в том, что их осознание или понимание не соответствует высочайшим стандартам веры, ибо так можно сказать о каждом. Святой Павел красноречиво высказывается по этому вопросу. Но если неуклюжесть, фальшивость и несостоятельность религии интерпретируются как то, что в ней нет основополагающей истины – а само Священное Писание от начала до конца развенчивает такую точку зрения, – то люди не смогут доверять собственным мыслям, их представлениям о вере, их пониманию и не смогут отдавать дань уважения извечно неправильному опыту веры собственной и ближних своих. Мне кажется, даже в атеизме меньше подлости, если судить по справедливости. Похоже, дух религиозного самодовольства, который пытается насадить эта статья, – это именно тот дух, с которым ее и написали. Разумеется, во многом автор прав – например, в том, что мощь религиозного самодовольства может быть деструктивна.

Вот предложение, над которым мы с Боутоном долго смеялись: «Интересно задуматься о том, сколько христиан могут поставить под вопрос христианство».

– Двадцать пять томов пера христиан. Или менее, – сказал я.

Боутон заявил:

– Меньше, – и подмигнул Глори. А она произнесла:

– Вечно ты всех исправляешь. – И это было правдой.

(Разумеется, я всего лишь применил стилистический прием, и он прекрасно это знал. Просто он такое не одобряет. Я не часто прибегаю к подобным методам. Однако я считаю, что вполне уместно иногда пошутить.)

А над этим абзацем мы задержались: «В самом деле есть нотка греховной гордости в той уверенности, с которой большинство людей выражали мысли о небесах. И хотя в Библии много сказано о Страшном суде, четкого описания жизни после смерти она не содержит. При этом менее трети американцев – двадцать девять процентов – признают, что понятия не имеют, какой вопрос вызывает наибольшие сомнения в библейских откровениях».

Что ж, такую интерпретацию я называл бы мошеннической. Сказать, что тема сомнительная – это не то же самое, что сказать, будто кто-то не может формировать мысли на ее основе или не должен этого делать. И это не то же самое, что сказать, будто можно *избегать* формирования мыслей

на ее основе. Любое понятие, которое существует в уме, существует в какой-либо форме среди определенного набора ассоциаций. Я хотел бы поговорить о тех двадцати девяти процентах, у которых нет никаких мыслей, и понять, как им это удается. Держу пари, им просто не понравился вопрос.

Боутон утверждает, что каждый день у него появляются новые мысли о небесах. Он сказал: «Главным образом я думаю обо всех прелестях мира и умножаю их на два. Я умножил бы их на десять или двенадцать, если бы у меня только хватило сил. Но два – это уже более чем достаточно для моих целей». Так что он просто сидит там и умножает ощущение ветра в лицо на два, умножает запах травы на два.

– Я помню, как мы затащили эту старую телегу на крышу суда, – сказал он. – Похоже, тогда даже звезды светили ярче. В два раза ярче.

– А мы были в два раза умнее.

– О, больше, чем в два раза, – заявил он. – Гораздо больше.

Вышел Джек и сел рядом с нами. Он спросил, нельзя ли ему взглянуть на статью, и я дал ее ему.

– Мне показалось, автор особо подчеркнул то, что отношение американцев к черным служило показателем недостаточно серьезного отношения к религии, – сказал он.

Боутон парировал:

– Легко судить.

Джек улыбнулся и вернул мне журнал.

– Твоя правда, – произнес он.

Это был первый раз, когда я увидел его после той самой воскресной службы. Он вышел через боковую дверь со стороны алтаря, чтобы не пожимать мне руку, я полагаю. Этот повод, наряду с другими, вызывал у меня беспокойство. Я даже немного смутился, встретившись с ним взглядом, по правде говоря. Наверное, мое желание вернуть журнал было лишь предлогом для того, чтобы проведать Боутона и Глори и посмотреть, не обижены ли они на меня. Но с этой статьей я не покончил. Я и правда собирался забрать ее с собой. Иногда я весьма успешно скрываю от себя собственные мотивы. Я даже воображал, когда не мог заснуть в воскресенье ночью, что Джек, возможно, снова уедет, поскольку я устроил настоящую катастрофу в церкви или ему так показалось, если судить по его виду. Я даже подумывал извиниться, но это лишь подтвердило бы его подозрение, что за смыслом моих речей скрывалось именно то, что он подумал, а я не полностью в этом уверен. И это лишило бы его возможности интерпретировать их с меньшей драматичностью. Как бы там

ни было, из-за этого между нами мог разгореться конфликт, вероятно, совершенно ненужный. Наконец, я в принципе сомневался, стоит ли к ним идти, опасаясь того, что одно мое присутствие послужит раздражителем или поводом для провокаций, равно как и мое намеренное нежелание идти на контакт. Потом Глори зашла поздороваться. Казалось, она в прекрасном расположении духа. И я испытал величайшее облегчение. Если и есть что-то, что я не хочу делать в то время, что отпущено для нас обоих, так это обижать Боутона. Я задумался о том, как он, должно быть, рад, что Джек сейчас подле него. Еще мне пришло на ум, что и со стороны Джека было крайне благородно приехать к бедному старику и, вероятно, к Глори тоже, если вспомнить о всех ее злоключениях. И я тут же устыдился, вспомнив о том, с каким нетерпением ждал его отъезда, думая лишь о своей собственной жизни, я это признаю. Мне даже казалось, как будто он приехал, чтобы переселить отца, так сказать, поскольку он и другие дети должны были унаследовать дом. Их обитель и правда нуждалась в ремонте, и дел было гораздо больше, чем могла осилить одна Глори. Сидя на веранде с Джеком, я изумился, как он возмужал. Разумеется, он уже достаточно зрел для того, чтобы возмужать, ведь ему уже за сорок. Анжелине бы исполнился пятьдесят один год, значит ему – сорок три. Седина тронула его волосы, да и на глаза легла тень усталости. Что ж, он выглядел напряженно, как и всегда, а еще он показался мне грустным.

Твоя мама появилась на дороге и сообщила, что ужин уже готов. Ужин был холодным, по ее словам, так что спешить было некуда. Она согласилась посидеть с нами пару минут. Ее всегда приходилось уговаривать посидеть в обществе других людей хотя бы пару минут, а потом из нее с трудом удавалось вытягивать слова. Полагаю, она переживает из-за своей манеры разговора. Мне нравится, как она разговаривает или разговаривала, когда я с ней познакомился. «Не играет значения», – говорила она своим низким тихим голосом. Эти слова она произносила, когда хотела сказать, что прощает кого-то, но в них слышалось более глубокое и печальное отречение, словно она прощала весь сотворенный порядок, прощала самого Господа. Меня печалит то, что я, быть может, никогда не услышу этих слов из ее уст. Полагаю, Боутон своими вечными исправлениями заставил ее задуматься над ошибками в речи. Хотя не помню, чтобы он хоть раз поправил ее.

«Не играет значения». Это звучало так, словно она отвергала само мироздание исключительно для того, чтобы закрыть глаза на обиду, которую ей нанесли. Столь расточительное отречение и такая неприкрытая расточительность были характерны для былых времен. Мне нечего тебе

дать – бери и ешь. Обугленное печенье, летний дождь, ее мокрые волосы, облепившие лицо... Если бы меня попросили умножить все радости мира на два – радости, которые важны для меня, – то я нарисовал бы картину Рая, отличную от тех, что мы видим на старых полотнах.

Итак, Джеку Боутону сорок три. Я понятия не имею, какую жизнь он вел, с тех пор как уехал отсюда. Никто никогда не упоминал о браке, или о детях, или о какой-то определенной работе. Я всегда чувствовал, что лучше не спрашивать.

Я сидел там и слушал, как старый Боутон разглагольствует (он и сам использует это выражение) об их с женой путешествии в Миннеаполис, когда ворвался Джек и обратился ко мне:

– Ваше преподобие, я хотел бы услышать вашу точку зрения на доктрину предопределенной судьбы.

Что ж, это, наверное, самая нелюбимая тема для разговора на свете. Я всю жизнь слушаю разговоры об этой доктрине, доводы «за» и «против», но людское понимание этой проблемы не продвинулось ни на йоту. Я видел, как взрослые мужи, богобоязненные люди, спорят до хрипоты из-за этой доктрины. Первая мысль, которая пришла мне в голову, звучала так: «Разумеется, он просто не мог не поднять тему предопределенной судьбы!»

И я ответил:

– Это крайне сложный вопрос.

– Позвольте мне упростить, – произнес он. – Считаете ли вы, что некоторые люди однозначно и бесповоротно обречены на вечные муки?

– Что ж, – ответил я. – Возможно, это то самое упрощение, из-за которого возникает еще больше вопросов.

Он рассмеялся:

– Должно быть, люди постоянно вас об этом спрашивают, – сказал он.

– Спрашивают.

– Тогда, полагаю, вы как-то им отвечаете.

– Я говорю им, что существуют определенные атрибуты, которые наша вера приписывает Господу: всезнание, всесилие, справедливость и милосердие. Мы же, сыны человеческие, имеем лишь поверхностные представления о власти и знаниях, и совсем немного знакомы со справедливостью, и не осознаем все возможности милосердия, так что для нас остается тайной, как эти великие качества могут слаженно работать вместе, и эту тайну мы даже не можем надеяться постичь.

Он засмеялся:

– Вы говорите именно такими словами.

– Да, говорю. По большей части именно такими словами. Это коварный вопрос, я отвечаю на него с большой осторожностью.

Он кивнул:

– Я так понимаю, что вы все же верите в predetermined судьбу.

– Мне не нравится это словосочетание. Его часто используют в неподобающих контекстах.

– Можете предложить что-то получше?

– С ходу – нет. – Я чувствовал, что он искушает меня, видишь ли.

– Я надеюсь на вашу помощь в этом вопросе, ваше преподобие, – произнес он так серьезно, что я озадачился, не говорит ли он всерьез. – Это очень важная тема, не правда ли? Мы ведь имеем дело не с простым наименованием, не с обычной абстракцией.

– Согласен, – сказал я. – Так и есть.

– Полагаю, predetermined судьба в вашем понимании не означает, что хороший человек попадет в ад только потому, что ему изначально было уготовано туда попасть.

– Извините меня, – вставила Глори. – Я слышала такие споры тысячу раз и терпеть их не могу.

Старый Боутон сказал:

– Я и сам ненавижу подобные разговоры и ни разу не слышал, чтобы хоть кто-то договорился до истины. Однако я не отношу их к разряду споров, Глори.

– Подождите пять минут, – ответила она, встала и прошла в дом, а твоя мать сидела на месте и внимательно слушала.

Джек произнес:

– Я всего лишь любитель. Полагаю, если бы я тоже так долго бился над этим вопросом, он и у меня вызвал бы отвращение. Что ж, на самом деле я полагаю, мне уже приходилось иметь дело с чем-то подобным. У меня была причина для размышлений на эту тему. Я рассчитывал, что вы дадите мне мудрый совет.

– Я не верю, что человек, который ведет праведный образ жизни хоть в каком-то отношении, может быть обречен на вечные муки. Как и не верю, что грешник обязательно обречен. Священное Писание явно предусматривает иные решения для обеих ситуаций.

– Уверен, так и есть. Но существуют ли люди, которые рождаются порочными, живут порочной жизнью, а потом отправляются в ад?

– Этот вопрос Священное Писание не раскрывает.

– А что подсказывает вам опыт, преподобный?

– Как правило, поведение человека соответствует его природе. То есть именно поведение соответствует. Соответствие – вот, что я имею в виду, когда говорю о его природе. – Я и сам понял, что мое высказывание тавтологично и закольцовано. Он улыбнулся.

– Значит, люди не меняются, – заключил он.

– Меняются, но под действием каких-либо факторов – алкоголя либо влияния другого человека. То есть меняется их поведения. Значит ли это, что меняется их природа или проявляется другой ее аспект, сказать сложно.

– Для представителя духовенства вы слишком любите уклоняться от прямых ответов, – заметил он.

Эти слова заставили старого Боутона расхохотаться:

– Жаль, ты не видел его лет тридцать назад.

– Видел.

– Что ж, – возразил его отец, – в таком случае, тебе нужно было быть повнимательнее.

Джек пожал плечами:

– Я и был.

А вот это мне не очень понравилось. Не понимаю, почему Боутон так повел беседу. Быть может, я и правда даю уклончивые ответы, когда меня припирают к стенке.

Я произнес:

– Я всего лишь пытаюсь быть полезным для собеседника, когда говорю о том, что вызывает у меня сомнения. Не собираюсь притягивать за уши к тайне какую-то теорию и говорить глупости лишь потому, что многие люди так поступают.

Твоя мама посмотрела на меня, и я понял, что тон моего голоса выдал огорчение. Я *и правда* расстроился. В девяти случаях из десяти, когда какой-нибудь умник начинает полемизировать на теологические темы, он всего лишь пытается поставить меня в невыгодное положение, а я уже слишком стар, чтобы увидеть в этом нечто смешное. Потом в дверях появилась Глори и сказала:

– Ваши пять минут еще не вышли.

Можно подумать, все только и считали, сколько времени она потратила на тщетные поиски.

Вдруг заговорила твоя мать, и это удивило всех нас. Она произнесла:

– А как быть со спасением души? Если ты не можешь измениться, тогда, похоже, в этом нет никакого смысла. – Она вспыхнула. – Я не то

имела в виду.

– Вы сделали очень мудрое замечание, дорогая, – ободрил ее Боутон. – Меня долгое время волновал вопрос о том, как тайну предопределенной судьбы можно примирить с тайной спасения. Я помню, что много об этом размышлял.

– И не сделал никаких выводов? – поинтересовался Джек.

– Во всяком случае, таких, о которых стоило бы помнить, – нет. – Потом он заметил: – Делать выводы – это не по нашей части.

Джек улыбнулся твоей матери, как будто искал союзника, кого-то, кто мог разделить его разочарование, но она сидела, не шелохнувшись, и рассматривала собственные ладони.

– Я сказал бы, – заметил он, – что вопрос, поднятый миссис Эймс, вы, джентльмены, должны рассмотреть с величайшей серьезностью. Знаю, вы посещали молитвенные собрания под тентами^[23] исключительно в качестве заинтересованных наблюдателей, но, простите, я слабо верю в то, что кому-то еще интересна эта тема, так что предлагаю закончить.

– Мне – интересна, – возразила твоя мама.

Старый Боутон, который уже начал злиться, сказал:

– Надеюсь, пресвитерианская церковь – прекрасное место для того, чтобы постичь благословенные истины веры, искупление и прощение прежде всего. Видит Бог, я много трудился, чтобы сделать эту церковь именно такой.

– Прости меня, папа, – сказал Джек. – Пойду поищу Глори. Она найдет мне какое-нибудь применение. Ты всегда говорил, что заняться чем-то – лучший способ избежать неприятностей.

– Нет, останьтесь, – попросила твоя мама. И он остался.

Повисла неловкая пауза. Чтобы поддержать разговор, я заметил, что ему было бы полезно обратиться к Карлу Барту, на что он возразил:

– Именно это вы и советуете какой-нибудь измученной душе, которая является к вам на порог в полночь? Рекомендуете почитать Карла Барта?

– Все зависит от конкретного случая, – ответил я.

Так и есть. Я обнаружил, что творчество Барта приносит глубокое успокоение, о чем, если не ошибаюсь, уже сообщил тебе. Однако на самом деле я не помню, чтобы рекомендовал его хоть одной измученной душе, кроме моей собственной. Вот что я имею в виду, говоря о невыгодном положении.

– Человек может измениться, – сказала твоя мама. – Все может измениться.

Она так и не подняла на него глаза.

Он ответил:

– Спасибо. Это все, что я хотел знать.

Так закончился тот разговор. Мы пошли домой ужинать.

Я остался в недоумении, гадая, что он имел в виду, когда упомянул собрания под тентом. Еще я много думал о слове «уклончивый». Я всегда боялся говорить о теологии с людьми, которым эта тема чужда. Время от времени я и правда уваливал от ответов. Осознаю, насколько ошибочно *полагать*, что человек говорит с тобой нечистосердечно. Я знаю, что это неуважительно, и стараюсь не злоупотреблять этим. Да и в округе едва ли у меня есть для этого большие возможности, поскольку я, судя по всему, крестил половину людей, которых встречаю на улице, и все их познания в богословии тоже получены от меня.

Но мне крайне тяжело разглядеть добрую совесть в Джоне Эймсе Боутоне, и это большая проблема. Когда шли мы домой, твоя мама обронила: «Он всего лишь задал вопрос». Из ее уст это прозвучало как упрек. Потом, когда мы прошли чуть дальше, она произнесла: «Быть может, некоторым людям тяжело в себе разобраться». Вот это уже *был* упрек. И она была совершенно права. Откуда у старого солдата вроде меня возникала потребность защищаться от насмешек, даже если он и стремился меня высмеять? Это был не вопрос потребности, а всего лишь вопрос привычки.

Мне кажется, я никогда не пытался сказать хоть что-то, что Эдвард счел бы незрелым или наивным. Это ограничение, по моему мнению, подействовало на меня благоприятным образом. Быть может, это лишь форма защиты, но я надеюсь, в итоге она сыграла положительную роль. Некоторые религиозные люди сами напрашиваются на насмешку и навлекают на себя интеллектуальное презрение, которое в некоторых случаях кажется мне вполне оправданным. Тем не менее я посоветовал бы тебе не защищаться из принципа. Так умирают самые лучшие случайности наряду с худшими. А на элементарном уровне это означает недостаток веры. Как я уже сказал, самые худшие случайности могут иметь огромную ценность для опыта. И зачастую, когда мы думаем, что защищаем себя, мы на самом деле боремся с нашим Спасителем. Я знаю это, лично убедившись в истинности этих слов, хотя мне не всегда удавалось жить согласно этому принципу, видит Бог. Я действительно сомневаюсь, что смог бы прожить так хотя бы день или час. Это удивительно интересная тема для размышления.

Полагаю, я смогу расслабиться, если откровенно расскажу о подоплеке этого дела. Сон стал для меня большой проблемой: он то избегает меня, то затягивает, когда наконец приходит. Молитвой эти смятения не унять. Если я почувствую, что мой будущий рассказ не соответствует действительности или что я не должен сообщать тебе об этом, то просто уничтожу некоторые страницы. Разумеется, мне и раньше приходилось это делать. Еще когда у нас была дровяная печь, это давалось мне очень легко. Я чувствовал, что поступаю правильно, глядя, как чепуху и разочарования съедают языки пламени. Думаю, нам надо нанять кого-нибудь и построить барбекю, как сделали Мюллеры.

Позволь мне начать с того, что милости Божией хватит на любой проступок, а судить грешно, из этого проистекает множество ошибок и жестокостей. Я осознаю это и, надеюсь, ты тоже.

Позволь мне добавить, что есть узы, которые обязывают меня проявлять особое терпение и доброту к этому молодому человеку, Джону Эймсу Боутону. Он любимый ребенок моего самого старого и дорогого друга, который подарил его мне, если можно так выразиться, чтобы восполнить мою собственную бездетность. Я крестил его в церкви Боутона. Отчетливо помню этот момент: Боутон, и миссис Боутон, и все малыши у купели смотрят на меня, а я излучаю счастливое изумление. Надеюсь, они увидели меня именно таким, ибо мои чувства в тот момент были немного сложнее, чем мне хотелось бы. Меня не предупредили заранее.

С учетом всего этого мне крайне совестно выступать свидетелем против него. Тем не менее существует здравый смысл, согласно которому люди разумно и справедливо ассоциируются с историями своей жизни с точки зрения общечеловеческих целей. Можно заявить, что вор – такой же человек, как и все, и любимчик Господа. Однако говорить, что вор – не вор, неправильно. Я ни в коем случае не намекаю, что молодой Боутон когда-либо что-то украл в традиционном смысле этого слова, во всяком случае, мне об этом ничего не известно. Таким образом я всего лишь хочу объяснить, почему чувствую, что могу говорить с тобой о его прошлом или по крайней мере о тех обрывочных сведениях из него, которые мне известны и имеют отношение к делу.

Как я уже упоминал, сама история настолько обыденна, что ее можно описать в двух словах. Около двадцати лет назад, во время учебы в колледже, он закрутил роман с молодой девушкой, в результате чего появился ребенок. Такое иногда случается, и обычно проблема решается

тем или иным образом, как тебе подтвердит любой представитель духовенства.

В этом случае, однако, имели место отягчающие обстоятельства. Во-первых, девушка была очень молода. Во-вторых, ее семья находилась в бедственном положении, почти нищенствовала. Иными словами, чтобы не соврать, ее никто не опекал, как полагается юной девушке. Каким образом Джек Боутон вообще ее нашел, осталось загадкой. Она жила вместе с семьей в заброшенном доме со сворой злых собак под крыльцом. Это было грустное место, а она была грустным ребенком. И вот явился он – в образе удалого студента: в форменном свитере, на автомобиле «плимут» с откидным верхом, который получил в подарок за красивую песню, как он сам говорил, когда люди спрашивали, откуда взялась машина. (Боутону нужно было дать образование всем своим многочисленным детям, и всем им приходилось работать, как и Джеку, но вопрос о машине не поднимался даже для Боутона-отца. Паства подарила ему старый «бьюик» в 1946 году, ибо к тому времени он уже с трудом добирался до большинства мест пешком.)

Джек Боутон не хотел иметь ничего общего с этой девушкой. Достойный человек не поступил бы так. Однако, сколько бы я ни обдумывал это, факт остается фактом. И вот какой у меня сформировался предрассудок по результатам многолетних наблюдений: грешники во многих отношениях – вовсе не бесчестные люди. Но те, кто бесчестен, на самом деле никогда не раскаиваются и не меняются. Быть может, тут я не прав. Такого разграничения в Священном Писании нет. И раскаяние, и изменение касаются души, которую может судить только Господь. Но, если опираться на мой опыт, бесстыдное поведение искоренить невозможно. Наблюдая его, я падаю духом, потому что чувствую: не могу предложить помощь этому грешному человеку. Знаю, быть может, это я сам несостоятелен.

Как бы там ни было, молодой Боутон так и не признал ребенка и не собирался его обеспечивать. Но все же он рассказал отцу о его существовании. Как будто исповедовался в грехе, как считал его отец, хотя мне такой поступок казался подлостью чистой воды, ибо он должен был знать, что внук ляжет на совесть старого Боутона тяжелым камнем, как и произошло. Он даже рассказал Боутону, где жила молодая девушка, и Глори отвезла туда старика в этом дурацком кабриолете. Боутон надеялся покрестить ребенка – это была маленькая девочка – или хотя бы утешиться мыслью, что ее покрестят, но родственники матери приняли его в штыки, как будто он был во всем виноват. Так что он оставил им деньги и уехал,

глубоко опечаленный и униженный. Вид у него был такой несчастный, что миссис Боутон заставила Глори рассказать ей, в чем дело, а потом и сама опечалилась так, что Глори повезла их обоих в деревню. Миссис Боутон желала видеть ребенка и подержать его на руках. Вероятно, с ее стороны это было не самым мудрым решением. Что ж, и мне довелось подержать эту девочку. И я правда не знаю, как можно проявлять мудрость в такой ситуации. Они привозили подгузники, одежду и оставляли деньги. Это продолжалось довольно долго. Несколько лет, если быть точным. Раньше Глори приходила ко мне и плакала, потому что ничего не менялось. Ребенок всегда был слишком грязный и слишком маленький.

Она взяла меня с собой, чтобы я взглянул на все собственными глазами, и могу сказать тебе, что дела были очень плохи. Люди имеют право жить, как хотят, но это место никак не подходило для ребенка. По всему двору валялись консервные банки и разбитые стекла, на полу лежали грязные старые матрасы и кучи хлама. Повсюду бродили собаки. Как мог Боутон-младший воспользоваться наивностью этой девушки и потом бросить ее? Глори рассказала, что, когда спросила брата, собирается ли он жениться на девушке, тот просто ответил: «Ты же ее видела». По пути туда Глори попросила меня попытаться убедить семью отпустить девушку с ребенком в город пожить в хорошей христианской семье. Я попытался, но ее отец плюнул на пол и сказал: «У нее уже есть хорошая христианская семья».

Потом, по дороге домой, Глори описывала придуманный ею план похищения ребенка. То есть еще совсем крохи. Она слышала старые байки о том, как укрывали беглецов из Миссури, и подумала, что спрятать маленького ребенка было бы куда проще. В нескольких домах в округе были скрытые подвалы или шкафы, где люди могли отсидеться день или два. Даже на чердаке в церкви есть такое помещение. Надо не забыть показать его тебе. Только для этого придется подняться по лестнице. Что ж, посмотрим...

Я сказал ей, что раньше в таких городах, как наш, все решалось путем заговоров. Многие люди приезжали сюда, чтобы всеми возможными способами реализовывать планы, связанные с искоренением рабства. А вот убедить кого-то забрать ребенка у матери и украсть его будет сложно, особенно с учетом того, что у Глори нет на этого ребенка никаких прав. Она сказала, что написала Боутону-младшему множество писем, умоляя его признать отцовство ради родителей. Она отмыла девочку, нарядила ее и отправила ему фотографии, где малышка улыбалась. Она фотографировала малышку на руках их отца. Джек же присылал Глори открытки на день рождения и коробки шоколадных конфет, но не

упоминал ни о ребенке, ни о страданиях, которые причинил всей семье. Она плакала так сильно, что ей пришлось съехать с дороги. «Они так тоскуют! – говорила она. – Они сгорают от стыда!» (Боутону-младшему хватило приличия оставить машину с откидным верхом и вернуться в школу на поезде, чтобы Глори могла хоть раз в неделю возить родителей на встречи с бедной крохой, с этой покрытой сыпью малышкой.)

Что ж, на этом история заканчивается. Маленькая девочка прожила около трех лет. Она постепенно превращалась в живое и проворное создание, которым ее мать из хорошей христианской семьи гордилась как тяжким крестом, который ей приходилось нести. Но потом малышка порезала ногу и умерла от инфекции. Навещая ее в последний раз, Боутоны видели, что она в плохом состоянии. Поэтому Глори привела доктора, но к тому времени ничего уже нельзя было сделать. Дед сказал, что «у нее выдалась трудная судьба», и Глори ударила его. Он угрожал подать на нее в суд, но, видимо, до этого у него так и не дошли руки. Он разрешил Боутонам похоронить малышку на семейном участке земли, поскольку те согласились оплатить расходы и дать кое-что сверху. Там она и лежит. На надгробии написано: «Малышка, три года» – ее мать так не решила, как ее назвать, – а ниже слова: «Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного»^[24].

Это горькая история, и все мы долго о ней сожалели. Наверное, нам действительно нужно было украсть малышку. Факт в том, что все это закончилось бы тем, что Глори и всех остальных посадили бы в тюрьму, ребенка вернули матери, а Боутон-младший оказался бы где-нибудь под деревом с книгой Хаксли или Карлайла. Еще к нему вернулся бы автомобиль. Не знаю, как извлечь мораль из такой ситуации. Полагаю, мы могли бы выкупить девочку, если бы набрали достаточно денег. Но это тоже преступление. А те люди могли бы вечно шантажировать нас, используя ребенка в качестве заложника. Если бы Господь не забрал ее к себе, это могло бы длиться десятилетиями. Глори говорила: «Если бы мы могли забрать ее *хотя бы на неделю!*» И что тогда, интересно? Я точно знаю, почему она говорила именно так, но недоумеваю, что значат эти слова. Я часто думал подобным образом о своем первом ребенке.

Теперь есть пенициллин, и много чего изменилось. В былые времена умереть можно было от чего угодно, из-за сущего пустяка.

– Мы же привезли ей туфли, – сказала миссис Боутон. – Почему он бегала босиком?

Девушка ответила:

– Чтобы не стаптывать их.

Бедная юная девушка, ее мать. Она была бледная и печальная, как будто вот-вот умрет от горя, если судить по ее виду. Что делать со всеми разочарованиями и огорчениями, которые копятся в этой жизни? Она бросила школу, и мы слышали о ней только то, что она сбежала в Чикаго.

Это все, что я должен рассказать тебе о Джеке Боутоне, как мне кажется. Когда его мать умерла, он не приехал домой – я уже говорил. Быть может, хотел избавиться нас от необходимости общаться с ним.

Они любили этого ребенка так сильно, потому что очень любили Джека. А девочка была похожа на него. И теперь он дома, а Глори радуется ему, словно между ними никогда не было разногласий. Я понятия не имею, почему он заявился домой. И не знаю, как они нашли путь к примирению. Если моя проповедь нарушила этот хрупкий мир, то я не сумел бы пережить такую печаль.

Двадцать лет – долгий срок. Мне ничего не известно об этих годах, а я полагаю, что узнал бы, если бы он чем-то искупил вину. Однако он не похож на человека, который нашел себе в жизни хорошее применение, если я могу судить.

Я нашел пару проповедей под Библией на ночном столике, которые, как я понимаю, твоя мама рекомендует мне прочитать. Она взяла корзину для белья и принесла в ней множество проповедей сверху, причем она их в самом деле читает. Она говорит, я должен использовать что-то из них, чтобы сэкономить силы для написания этого письма. Это звучит гораздо убедительнее, чем доводы, которые она приводила раньше, – о том, что я должен использовать их, чтобы не перенапрягаться для написания новых. Если бы я действительно считал, что мне не хватит сил для написания проповеди, то должен был бы покинуть кафедру. А вот мысль о том, чтобы посвятить больше времени тебе, – совсем другое дело.

Одна из этих проповедей касается прощения. Она датирована июнем 1947 года. Не знаю, по какому случаю я ее написал. Наверное, думал о Плане Маршалла. Мне особо не о чем было жалеть. В проповеди интерпретируются слова «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» в свете Моисеева закона на эту тему. То есть прощение долга и освобождение рабов каждый седьмой год, а потом великое возвращение людей на их землю, к собственным корням, если они жили в рабстве, каждый пятидесятый год. В проповеди сделан особый акцент на том, что в Священном Писании достаточной причиной для прощения долга является его существование. И это сравнивается с Божественным Милосердием, а также проводится параллель с Блудным сыном и его

возвращением домой к отцу, несмотря на то что первый не просит принять его вновь как сына и даже не раскаивается в том горе, которое причинил отцу.

Полагаю, в проповеди содержится весьма интересный вывод. В ней говорится, что Иисус ставит Своего слушателя в роль отца, того, кто прощает. Потому что мы, так сказать, все должники (разумеется, так оно и есть), а это предполагает, что в нас нет ни капли милосердия. А милосердие – величайший дар. Быть прощенным – лишь половина дара. Другая половина – умение прощать, восстанавливать доверие и отношения и отпускать, и, таким образом, мы можем чувствовать, что воля Божья воплощается в нас, и мы обретаем сами себя.

Это до сих пор кажется мне правильным. Я думаю, этот посыл несет в себе сам текст. Что ж, в 1947 году мне было почти семьдесят – на том этапе я, должно быть, мыслил уже как зрелый человек. А твоя мать, вероятно, слышала, как я читаю эту проповедь, если задуматься. Она впервые пришла в церковь в том году на Троицу, которая, как я думаю, выпала на май, и с тех пор не пропускала воскресную службу, за исключением одного раза.

Шел дождь, как я уже писал, но внутри горело множество свечей – обычное дело для таких служб. Мы всегда зажигали свечи, когда могли себе это позволить. А еще там было множество цветов. И, увидев в помещении незнакомку, я помню, что обрадовался, ибо святилище находилось в столь дивном убранстве, что ступить туда из непогоды, несомненно, было приятно. Полагаю, в тот день я читал проповедь о свете или Божественном свете. Я полагаю, она не нашла ее, или ее не помнит, или не считает особенно удачной. А мне все же хотелось бы взглянуть на эту проповедь.

Мне и правда нравится вспоминать то утро. Мне было шестьдесят семь лет, если быть точным, хотя тогда мне казалось, что это немного. Жаль, не могу передать тебе воспоминание о том, как выглядела твоя мама в тот день. Увы, я не могу оставить тебе картинки, которые отпечатались в моей памяти, ибо они так прекрасны, что мне ненавистна сама мысль о том, что они исчезнут вместе со мной. Наверное, в жизни есть собственная смертная прелесть. Память не так уж безоговорочно смертна по своей сути. А вообще, это странно – когда можешь вернуться к мгновению, которое уже никак не можешь связать с реальностью, даже в прошлом. То есть мгновение столь мимолетно, что одно обладание им – уже щедрая отсрочка.

Как-то раз я отправился с Глори передать кое-какие вещи этой

малышке. Ее семья жила прямо на другом берегу реки Уэст-Нишнаботна, и когда мы подъехали к мосту, то увидели двоих детей – малышку и ее мать, они играли у реки. Мы подъехали к дому и поставили еду, которую привезли, у забора. Мы не приближались к дому, потому что стая рычащих собак бросилась к воротам и никто не попытался приструнить их. Мы всегда привозили консервированную ветчину, сгущенное молоко без сахара и тому подобные продукты, до которых не могли добраться собаки. Девушка, должно быть, услышала, как мимо проехала машина и залаяли собаки, и поняла, что мы приехали, поскольку опять наступил понедельник. Она все равно не обратила бы на нас никакого внимания, так как преданно разделяла взгляды отца. Ее оскорбляла наша забота и желание помочь, и она демонстративно игнорировала нас всякий раз, как ей предоставлялась такая возможность. И, должен сказать, мне легко понять мотивы ее поведения. Ее отец явно предполагал, что мы так беспокоимся и тратимся лишь для того, чтобы выпутать Джека. И, хотя никто никогда ничего подобного не говорил и даже не намекал на нечто подобное, не могу сказать, что он был в корне не прав. Как и не могу сказать, что Джек совершенно не думал об этом, признаваясь во всем отцу, зная старого Боутона и то, как он отреагирует. Это могло бы пролить свет на то, почему он уехал из Плимута.

Как бы там ни было, мы с Глори припарковали машину у дороги за сотню ярдов у моста и пошли назад, а потом остановились на мосту, наблюдая за детьми. На малышке, которая только начала ходить, не было ни лоскутка одежды, а девушку облепляло какое-то насквозь промокшее платье. Был конец лета. Река в это время года мелеет, и местами показывается дно, обнажая извилистое русло. Прямо напротив располагались песчаные отмели, более крупные походили на джунгли из сорняков, которые цвели буйным цветом, а бабочки и стрекозы порхали над ними, словно эльфы. Иногда девушка пыталась проявлять материнский инстинкт, как это делают дети, когда играют. Она пыталась забаррикадировать ручеек палками и грязью, а малышка изо всех сил старалась разобраться в игре и помочь. Девочка приносила матери пригоршни грязи и воды, а мать говорила ей: «Не смей сюда наступать! Ты портишь все, что я сделала!»

Чуть позже малышка, перенося воду, разомкнула ручки, пролила воду на руку матери и засмеялась, а мать набрала воды в руки и полила ей на животик. Малышка засмеялась и стала брызгать на мать обеими руками, а девушка принялась брызгать в ответ, пока малышка не заплакала, и тогда девушка сказала: «И не думай плакать! А чего ты хотела, когда ты так себя

ведешь?» Она обняла ее и притянула к себе, опустившись на колени в воде, и принялась чинить «дамбу» свободной рукой. Малышка попыталась что-то сказать, и мать произнесла: «Это лист. Лист дерева. Лист», – и вложила его девочке в ручку. А солнце сияло так ярко, как только могло, над этой темной рекой, но большую часть света поглощали деревья. И пели цикады, и ивы стелили по воде длинные ветви, и тополя с ясенями пели свою летнюю колыбельную, наполняя воздух тихим шуршанием.

Спустя какое-то время мы сели в автомобиль и вернулись домой. Глори сказала: «Я ничего не понимаю в этом мире. Ничего».

Это пришло мне на ум, потому что помнить и прощать – действия прямо противоположные. Несомненно, в большинстве случаев так и бывает. Не мне прощать Джека Боутона. Лично мне он причинил вред только косвенный и незначительный. Или, по крайней мере, можно сказать, что во всех поступках он не ставил себе первостепенной цели навредить мне. Если один человек потерял ребенка, а второй – безрассудно «промотал» свое отцовство и выбросил, как нечто ненужное, это не значит, что второй человек согрешил против первого.

Я не прощаю его. Не знаю даже, с чего можно начать.

Вы с Тобиасом играете во дворе. Ты надел кепку с символикой «Доджерс» на заборный столб, и вы вдвоем кидаете в нее камушки. Точность, вероятно, вам только предстоит обрести. «Ну вот!» – восклицает Т. и морщится, подпрыгивая с крепко сжатыми кулаками, словно промахнулся совсем чуть-чуть. И вы опять идете собирать камушки, а Соупи тащится сзади на почтительном расстоянии с таким видом, как будто шествовать в этом направлении ее вынуждают исключительно личные дела.

Я пытался вспомнить, что делали птицы до того, как появились телефонные провода. Им было бы куда сложнее найти насест при свете дня, а ведь им явно нравится находиться в таком положении.

И вот появляется Джек Боутон с бейсбольной битой и перчаткой. Вы с Т. бежите по улице ему навстречу. Он занес перчатку над твоей головой, и тебе это понравилось. Ты ухватился за нее обеими руками и шагаешь рядом с ним широкими шагами, босоногий, с голым животом, как какой-то маленький первобытный вождь. Я не могу разглядеть подтеки от фруктового мороженого у тебя на животе, но знаю, что они там есть. Т. несет битку. Поскольку Джек никогда не бывает расслаблен, меня не удивило, что вид у него слегка напряженный. Вот он проходит через

ворота. Я слышу, как он разговаривает с твоей матерью на веранде. Разговор складывается хорошо. Полагаю, мое сердце предпочло бы, чтобы я еще немного посидел в этом кресле.

Вы втроем заняли угол двора. Джек делает пробный удар. Вы с Т. бросаетесь вперед и в сторону, словно хотите поймать мяч. Оказавшись в непосредственной близости от мяча, вы поднимаете перчатки, чтобы защититься от удара, и мяч со стуком падает на землю где-то рядом. Но постепенно вы понимаете, как делать верхний бросок с выносом руки. Приятно наблюдать за вами, за вами троими. Наверное, пойду на улицу и посмотрю, что у него на уме. Я знаю: он что-то задумал.

Он хотел знать, буду ли я завтра у себя в кабинете в церкви. Я подтвердил, что утром буду. Значит, он придет поговорить со мной.

Жаль, у меня не осталось больше моих фотографий тех лет, когда я был моложе, наверное, потому, что я верю: когда ты прочтешь эти строки, я не буду старым, и когда мы увидимся в конце твоей долгой счастливой жизни, ни один из нас не будет старым. Мы будем как братья. Вот как я представляю это себе. Иногда, когда ты залезаешь ко мне на колени и устраиваешься поудобнее, я чувствую эту легкую проворную силу в твоём теле и тяжесть твоей головы, когда ты замерз после игры с разбрызгивателем на газоне или разогрелся от вечерней ванны и лежишь в моих объятиях, теребя меня за бороду, и рассказываешь, о чем ты думал. И это невероятно приятно, и я представляю, как твое детское отражение найдет меня на небесах и прыгнет в мои объятия, и эта мысль приносит мне неумную радость. И все же первая фантазия приятнее и больше похожа на правду, как мне кажется. Мы ничего не знаем о небесах или почти ничего, и, я думаю, Кальвин прав, не рекомендуя любопытствующим спекулировать на тему того, что Господь не посчитал нужным открыть нам.

Зрелость – прекрасное, но очень короткое время. Ты должен насладиться им в полной мере, пока оно не закончилось.

Полагаю, душа в раю должна наслаждаться чем-то более близким вечной энергичной зрелости, нежели любому другому нам известному состоянию. По крайней мере, я на это надеюсь. Не то чтобы рай мог разочаровать меня, но я верю, что Боутон прав, утверждая, будто право фантазировать о небесах – самое большое удовольствие этого мира. Не вижу, в чем он может заблуждаться, если смотреть на это именно так. Разумеется, мне приятна мысль, что твоя мать может обнаружить меня там молодым и сильным человеком. Там нет ни мужчин, ни женщин, они не

женятся и не выходят замуж, но *mutatis mutandis*^[25] это было бы здорово. Ох уж эти *mutandis*! Какая смысловая нагрузка в одном слове!

Даруй мне на земле то, что считаешь нужным,
Пока смерть с небесами не откроет остальное.

Исаак Уоттс

И Джон Эймс говорит «аминь».

Сегодня утром я проснулся рано, а это все равно что сказать: в эту ночь я почти не спал. Я беспрестанно прокручивал в голове мысль о том, что должен уделять внешнему виду чуть больше внимания, чем привык делать в последнее время. У меня целая копна волос, хотя они и растут неравномерно, но там, где они еще есть, они довольно густые и совершенно седые. Да и брови у меня тоже седые и густые. Когда волосы отрастают, они начинают закручиваться в самых немыслимых направлениях. Контур радужки моих глаз стал чуть более расплывчатым. Хотя у меня всегда были глаза какого-то неопределенного цвета, теперь они стали светлее. Мои нос и уши явно выросли по сравнению с годами зрелости. Я знаю, что неплохо выгляжу для человека моих лет в том, что касается внешности. И все же возраст – странная штука. Вчера ты стоял на стуле и играл моими бровями, распрямляя волоски и наблюдая, как они закручиваются обратно. Ты думал, это смешно, так оно и есть.

Что ж, я чисто выбрился, надел белую рубашку и немного отполировал туфли. Думаю, благодаря таким приготовлениям становится очевидна разница между пожилым джентльменом и чудаковатым старикашкой. Знаю, твоей матери больше подходит первый вариант, но иногда забываю приложить необходимые усилия, и эту оплошность я намереваюсь исправить.

В конце концов, я отправился в церковь и ждал, пока в святилище не станет светло. В итоге я так и уснул, сидя на скамье, и это было весьма кстати, потому что, не обнаружив меня в кабинете, Боутон-младший заявился сюда. Я чувствовал себя почти так же, как тень бедного Самуила должна была чувствовать, когда ведьма вытащила его из Шеола. «Зачем побеспокоила меня?» На самом деле я провел утро за молитвами в темноте, прося Господа дать мне мудрость, чтобы правильно обойтись с Джоном Эймсом Боутоном. И потому, когда он разбудил меня, я тут же осознал, что моя мрачная старая змеиная сущность передала бы его филистимлянам в обмен на пару лишних минут сна. Я действительно презираю эти пафосные

ситуации, когда кто-то застаёт меня спящим в самых странных местах в самое странное время. Твоя мать всегда говорит людям, что я всю ночь читал и писал, иногда так и бывает. А иногда я просто не сплю целую ночь, мечтая погрузиться в объятия Морфея.

(На самом деле я настоятельно рекомендую молиться в такие моменты, потому что зачастую они наступают, когда действительно нужно что-то решить. Здесь, в темноте, мне удалось обрести хладнокровие, полагаю, именно это и позволило мне заснуть. Проблема была в том, что я заснул слишком крепко. Физическое тело может истребовать сон с животной жадностью, как известно. И пробуждение сопровождается недовольством, как и случилось бы на этот раз, если бы меня не посетило воспоминание о том, что я хотя бы молился о спокойствии. Однако не могу утверждать, что спокойствие меня посетило.)

Итак, первые слова, которые произнес Джек Боутон, звучали так: «Мне очень жаль». Он сел на скамью, дав мне время прийти в себя, что было очень мило с его стороны. Я заметил, что он тоже приоделся – в пиджаке, с галстуком, а свеженачищенные туфли сильно блестели. Он оглядел помещение, оценивая его убранство, которое, как мне известно, являет собой образец обнаженной простоты, в отличие от роскоши утонченных старых церквей. Неудивительно, ведь наша обитель Господа была возведена в качестве временного святилища.

– Ваш отец служил здесь, – заметил он.

– Довольно долго. Церковь не сильно изменилась с тех пор.

– Как и церковь, в которой я вырос.

Церковь пресвитерианцев очень походила на нашу, но они заменили ее пару лет назад весьма внушительным зданием из камня и кирпича. Ее опутывали уже довольно густые заросли плюща. Боутон говорит, что если ему удастся хоть немного «состарить» колокольню, то у них получится настоящая древность. Он предложил нам переплунуть пресвитерианцев по части возведения псевдодревностей путем закладки нашего нового здания на фундаменте в катакомбах. Наверное, я внесу такое предложение.

Джек сказал:

– Отец во многом формирует личность сына, это неизбежно.

У меня есть ужасная привычка перетягивать главную роль в беседе на себя в плане удовольствия или пользы, на которые я могу рассчитывать в ходе разговора, но тут я не питал особых надежд, ответив кратко:

– У меня было такое же призвание, как у отца. Полагаю, даже если бы у меня был совершенно другой отец, Господь все равно призвал бы меня.

Признаю, в этом аспекте я склонен проявлять сентиментальность.

Джек помолчал с минуту, потом произнес:

– Всегда возникает впечатление, что я хочу кого-то обидеть. Но далеко не всегда таковы мои истинные намерения. – И добавил: – Надеюсь, вы поймете, что я не хотел обидеть вас, преподобный.

Я ответил:

– Буду иметь это в виду.

– Спасибо, – сказал он. А через минуту продолжил: – Жаль, что я не такой, как мой отец, – и посмотрел на меня так, как будто думал, что я могу рассмеяться.

– Твой отец был примером для всех нас, – заметил я.

Он посмотрел на меня, потом прикрыл глаза ладонью. В этом жесте читались и горе, и разочарование, и усталость. Я знал, что это означало, а потому сказал:

– Боюсь, я тебя обидел.

– Нет, нет, – возразил он. – Но я хотел бы поговорить с вами откровенно.

Воцарилась тишина. Потом он сказал:

– Благодарю вас за время, – и встал, собираясь уйти.

Я произнес:

– Садись, сынок. Садись. Давай попробуем еще раз.

Мы немного помолчали. Он снял галстук, намотал его на руку и показал мне, как будто в этом было нечто смешное, а потом положил в карман. Наконец, он произнес:

– В детстве я думал, что Господь живет на чердаке и платит за бакалейные товары. Это был предел моей веры. – Помолчав, он добавил: – Я не хотел показаться грубым.

– Понимаю.

– Почему так произошло, как думаете? То есть я никогда не верил ни одному слову из того, что говорил мой бедный старый отец. Даже когда был ребенком. Когда все, кого я знал, думали, что вся сила в учении Христа.

– Веришь ли ты в Него сейчас?

Он покачал головой:

– Не могу сказать, что верю. – Он взглянул на меня. – Я пытаюсь быть честным.

– Я это вижу.

– Должен признаться вам в одной странности, – сказал он. – Я довольно много лгу, потому что так люди охотнее мне верят. Именно когда я пытаюсь говорить правду, все оборачивается против меня. – Он засмеялся и пожал плечами. – Так что я понимаю, чем сейчас рискую. – Он снова немного помолчал. – Хотя, когда я лгу, многое идет не так.

Я спросил его, что именно он хотел мне рассказать.

– Что ж, – произнес он, – полагаю, я задал вам вопрос.

Он имел полное право указать на это. Он действительно задал вопрос, а я уклонился от ответа. Это правда. Я не мог не различить нотки уважения в его голосе, особенно если принять во внимание тот факт, насколько серьезно он говорил о том, что собирается вести разговор в светском ключе.

– Просто не знаю, как ответить на этот вопрос, – отозвался я. – Мне правда жаль, что не знаю ответа.

Он сложил руки на груди, откинулся назад и с минуту покрутил стопой.

– Правильно ли, с вашей точки зрения, – поинтересовался он, – что мы и не должны найти общий язык? Что нет никакого способа пролить хоть каплю воды на тех, кто изнывает от боли в адском пламени? Да и кто может это сделать? Если опираться на ваше толкование? Значит, между мной и вами огромная пропасть? Как же получается, что Истину с большой буквы нельзя передать другому? Я не понимаю, в чем тут смысл.

– Не уверен, что таково мое толкование. В таком контексте я поднял бы вопрос о милосердии, – ответил я.

– Но никогда – об отсутствии милосердия, а ведь, по сути, дело именно в этом. Если принять ваше толкование. Я ни в коем случае не намеревался проявить неуважение.

– Понимаю, – сказал я.

– Значит, – произнес он, немного помолчав, – у вас нет соображений на эту тему, которыми вы могли бы поделиться со мной.

– Пожалуй, в таком случае я даже не знаю, с какой стороны подойти к вопросу, – ответил я. – Хочешь, чтобы я убеждал тебя в истинности христианской веры?

Он рассмеялся.

– Уверен, если бы хоть кто-то убедил меня в ней, я испытал бы безмерную благодарность. Насколько я понимаю, именно так обычно и бывает.

– Значит, – произнес я, – мне будет не так сложно, не правда ли?

Он посидел молча еще немного, а потом начал рассказывать:

– Один мой друг, впрочем, не друг, а человек, с которым я познакомился в Теннесси, слышал о нашем городке и о вашем деде. Он поведал мне пару историй о былых днях в Канзасе, которые слышал от отца. Он сказал, что во время Гражданской войны в Айове сражался цветной полк.

– Так и было. А еще седобородый полк и методистский полк, как его называли. В любом случае, пили они только чай.

– Я удивился, узнав о цветном полке, – пояснил он. – Никогда бы не подумал, что в этом штате было много цветных.

– О да. Довольно много цветных приехало из Миссури еще до войны. Еще, я думаю, много людей прибыло из долины Миссисипи.

– Во времена моего детства в городе жило несколько негритянских семей, – сказал он.

– Да, они действительно жили тут, но уехали пару лет назад, – подтвердил я.

– Я слышал, что в их церкви случился пожар.

– О да, но это было *много* лет назад, когда я был еще мальчиком. Да и огонь был небольшим. Он не причинил большого ущерба.

– Значит, все они уехали.

– Уехали, и это печально. Зато у нас появилось несколько литовских семей. Разумеется, они лютеране.

Он засмеялся, потом сказал:

– Жаль, что они уехали.

И, казалось, на некоторое время задумался.

Потом он произнес:

– Вы восхищаетесь Карлом Бартом.

Полагаю, именно в этот момент он начал говорить о своем гневе, этом коварном гневе, с которым я никогда не мог справиться. Он всегда был умен, как дьявол, и серьезен, как дьявол. Мне следовало бы догадаться, что он читал Карла Барта.

– Да, я восхищаюсь им, – сказал я. – Воистину.

– Но мне кажется, он не испытывает особого уважения к американской религии. Вы не согласны? Он открыто об этом говорит.

– Он и европейскую религию критикует, – ответил я, и это было правдой. И все же в тот самый момент я осознал, что дал уклончивый ответ. Как и Боутон-младший – я понял это по его лицу, на котором отобразилось нечто, весьма далекое от улыбки.

– И все же Барт воспринимает ее серьезно, – заметил он. – Считает, она достойна того, чтобы поспорить на ее счет.

– Разумеется. – И это тоже было правдой.

Потом он спросил:

– Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему американское христианство, похоже, пребывает в вечном ожидании, пока в других местах идет активная мыслительная работа?

– На самом деле – нет. – Я и сам удивился собственному ответу, поскольку очень часто задумывался об этом.

И в то мгновение я в самом деле почувствовал, что Джек Боутон взял верх в дискуссии и что он рад этому не больше, чем я, а может, даже расстроен. Разумеется, я снова занял позицию притворщика. Мне хотелось признать себя виновным и сослаться на старость. Но я сидел в собственной церкви, в этом прекрасном незыблемом дневном свете, который лился внутрь через окна. И я чувствовал себя так, как уже чувствовал много раз, понимая, что сокрытие истины никак не отразится на самой Истине, которая, если задуматься, не зависит ни от меня, ни от кого-либо еще. И моя душа восстала против меня, именно это я и почувствовал, а потому сказал:

– За свою жизнь я слышал много прекрасных проповедей и узнал много достойных душ. Я прекрасно понимаю, что люди видят недостатки, но, мне кажется, это самонадеянно – судить о подлинности чьей-либо религии, за исключением своей собственной. Хотя это тоже самонадеянно.

И затем добавил:

– Когда это старое святилище исполнено тишины и молитв, любая книга, которую когда-либо напишет Карл Барт, даже легким перышком не

ляжет на вторую чашу весов против этого святого места, если рассматривать все с точки зрения фундаментальности. И я не поверил бы в достоверность слов самого Барта, если бы не верил, что он знает, и осознаёт эту истину, и проявляет к ней уважение.

Я устал и испытывал большую печаль, чем положено человеку моего возраста. Только так я могу объяснить слезы, которые навернулись мне на глаза. Я удивился почти так же, как молодой Боутон.

Он произнес:

– Не могу описать, как мне жаль. – И его слова прозвучали убедительно.

А я так и сидел там, вытирая слезы рукавом, прямо как ты. И страшно смущался, поверь мне. Он сказал нечто вроде: «Простите меня» – и ушел.

И что теперь? Сейчас я думаю, что напишу ему письмо. Понятия не имею, с каким содержанием.

Здесь правда жили герои – и святые, и мученики, – и я хочу, чтобы ты это знал. Ибо это правда, хотя никто ее и не помнит. Если взглянуть на это место, можно увидеть лишь кучку домов вдоль нескольких дорог, небольшой ряд кирпичных зданий с магазинами внутри, зерновой элеватор и водонапорную башню, на одной стороне которой написано «Галаад», а еще почту, школы, стадионы и старую железнодорожную станцию, которая почти вся заросла сорняками. Но как выглядела Галилея? Внешний облик не так уж красноречив, когда происходит подобное.

Святые состарились, и времена изменились, и они стали походить на чудаков и зануд, и никто не желал слушать их страшные старые проповеди или дикие старые истории. Я пишу это и сам стыжусь: так получилось, что мне в самом деле не нравилось проводить время с дедом, это правда. Дело было даже не в ветхости и не в том, что всякий раз, когда пропадала какая-то нужная вещь, ее владелец заходил к нам домой и сообщал об этом. Этот его единственный глаз всегда казался мне исполненным ожидания и разочарования одновременно, и я пугался, когда взгляд деда падал на меня. Старики называли людей, не разделявших великую идею освобождения рабов, «мягкотелыми». В этом слове так и слышится презрение. Они были строги в своих суждениях. И, полагаю, у них была на то причина.

Например, я помню, как-то раз моего деда попросили сказать пару слов по случаю празднования Дня независимости. Я помню это, потому что все мы разволновались в предвкушении, а потом и правда смутились так, что стало абсолютно ясно, почему мы так беспокоились. Мысль состояла в том, что, поскольку он был основателем церкви и ветераном войны, его

выступление пришлось бы как нельзя кстати. На тот момент мэ́р прожил в Галааде всего лет двадцать, он был шведом и лютеранином, так что, возможно, не слышал байки о былых временах. Да и мой дед редко воровал у чужих людей, в основном – у членов семьи. Исключения он делал лишь для нашей паствы и крайне редко – для самых добрых из пресвитерианцев и методистов, которые уж точно не собирались поносить его на весь свет из уважения к возрасту и чистоте намерений. Моя мать говорила: где живет наш прихожанин, можно узнать по замку на двери сарая, и в этом есть доля правды. Как бы там ни было, мэ́р, вероятнее всего, не знал о странностях старика, когда отправлял ему приглашение.

У деда загорелись глаза в ту самую минуту, когда он прочитал письмо. Родители пытались устроить настоящий праздник: мать перерыла все вещи в доме в поисках армейской формы, но, разумеется, от нее ничего не осталось, кроме шляпы, которая выжила, наверное, потому, что ею почти не пользовались. Как говорила мать, «рожки да ножки» оставались от всего, что попадало к нему в руки. Мама нашла шляпу в шкафу и приложила большие усилия, чтобы придать ей форму. Но старик заявил:

– Я молюсь! – и положил ее обратно в шкаф.

У меня сохранилась эта проповедь *ipsissima verba*^[26], потому что она оказалась среди тех вещей, которые мой отец то хоронил, то выкапывал в тот день в саду. Она очень короткая, так что я скопирую ее тут, в точности как он написал. Помню, отец пытался вдохновить его переписать текст заново, дабы уйти от излишних разглагольствований и, вероятно, в надежде на то, что он или моя мать смогут взглянуть на нее и обсудить с дедом, если потребуется. Но дед тщательно оберегал свое детище и носил его на своем неприступном назаретском теле.

Вот что он написал и что там говорилось:

«Дети мои!

Когда я был молод, Господь пришел ко мне и возложил мне руку на правое плечо. Я до сих пор чувствую Его прикосновение. И Он заговорил со мной в высшей степени отчетливо. Его слова прошли через все мое существо. Он сказал: «Освободи поработанных. В проповедях делись добрыми вестями с несчастными. Провозглашай свободу на всей земле». Все это, разумеется, содержится в Священном Писании, и эти слова уже были хорошо знакомы мне в тот момент. Но совершенно понятно, почему Он почувствовал, что на них нужно сделать особый акцент. Никто не живет согласно этим принципам, пока Господь не возложит на него руку. Разумеется, и я жил иначе, пока Он не появился подле меня и не произнес

эти слова.

Я мог бы назвать произошедшее видением. В те времена нас посещали видения, довольно многих. Молодые люди наблюдают видения, а старики – сны. А теперь все эти молодые люди превратились в стариков, если вообще живы, и их видения – не больше, чем сны, а былые дни забыты. Мы парим в забвении, словно во сне, как поется в одном старом гимне, а наши сны забываются задолго до того, как забудут нас.

Генерал и президент Грант однажды назвал Айову яркой звездой радикализма. Но что осталось здесь от Айовы? Что осталось от Галаада? Пыль. Пыль и пепел. Священное Писание учит нас, что люди умирают. Разумеется, так оно и есть. Это замечательно. Несмотря на это, Его гнев неотвратим и Его рука простирается над нами.

Благослови и сохрани вас Господь, и т. п.»

Похоже, на него обратили внимание лишь несколько человек. И те, кто слушал, почти обиделись, когда услышали, что умрут, хотя уже началась страшная засуха, которой предстояло разорить и разрушить многие семьи и даже целые города. Раздавались тихие смешки, какие можно услышать, когда нелепость содержания становится очевидна для всех слушателей. Но хуже всего было не это. Мой дед стоял на сцене в черной сутане, напоминавшей оперение грифа, и оглядывал толпу с бесстрастным напряжением самой смерти, а вокруг него развевались знамена. Потом заиграл оркестр, и отец подошел к нему, положил ему руку на левое плечо и привел его к нам. Моя мать сказала:

– Спасибо, преподобный.

А дед покачал головой и заметил:

– Сомневаюсь, что мое выступление имело успех.

Я часто думал об этом: как меняются времена и как одни и те же слова, которые многих людей одного поколения отправляют в унылую пустыню, лишь раздражают и кажутся бессмыслицей для представителей поколения следующего. Возможно, ты по-думаешь, что я взял на себя некое обязательство по «спасению» Боутона-младшего, поскольку он задает вопросы на те же темы и таким образом заставляет меня принимать на себя это обязательство. Что ж, я уже сталкивался со скепсисом и беседами, которые он порождает. Все такие дискуссии неизменно оказываются бесплодными. Даже деструктивными. Молодые люди из моей паствы приезжали домой с экземплярами «Гошноты» и «Имморалиста», озадаченные одной только возможностью безверия, когда я, должно быть,

тысячу раз говорил им, что безверие возможно. Однако они задумались над этим лишь после прочтения книг, в которых повествуется о том, насколько трагично такое состояние. И они хотят, чтобы я защитил религию и предоставил им «доказательства». Я не собираюсь этого делать. Это лишь утвердит их скепсис. Ибо никакую истину о Господе нельзя заявлять с позиции защиты.

Начав получать эти длинные письма из Германии, отец стал внимательнее или, скорее, иначе наблюдать за мной. Впервые в жизни в нашем общении появилась какая-то натянутость. Мне нужно было следить за тем, что я говорю ему, ибо он подмечал любой смутный намек на ересь и начинал отчитывать за ошибку, к которой меня, вероятно, привел привычный образ мышления. Даже через несколько дней после такого случая он высказывал новые интерпретации слов, которые я даже не произносил. Несомненно, таким образом он говорил с Эдвардом. Разумеется, он говорил со мной – вторым Эдвардом, как могло показаться. А потом он явно отработывал на всякий случай стратегию защиты своих убеждений. До тех пор они никогда не казались мне уязвимыми, как и ему, полагаю.

Потом, когда он начал читать книги, которые я приносил домой, это выглядело почти так, как будто ему хотелось, чтобы они его убедили. Как будто любая критика с моей стороны была не более чем упрямством. Он использовал фразы вроде «смотреть в будущее». Как будто слабый аргумент сильнее вопроса исключительно из-за мнимой новизны, подумать только! А ведь во многом новаторство этого нового мышления было старо, как Лукреций, которого он знал так же хорошо, как и я. В том письме ко мне, которое я сжег, он говорил о «храбрости, необходимой для того, чтобы постичь истину». Я так и не смог забыть эти слова: слишком сильно они меня разозлили. Он просто предположил, что его часть вопроса была «истиной» и лишь трусость могла помешать мне это признать. Все это время, однако, я думаю, он просто искал способ подобраться к Эдварду, и я не могу его за это винить. Он в самом деле пытался наставить меня на путь истинный.

Что касается веры, я всегда считал, что аргументы в ее защиту не обоснованы настолько же, насколько и критические замечания, которые они должны опровергать. Я думаю, попытки защитить веру могут на самом деле пошатнуть ее, потому что всегда присутствует некая несостоятельность в спорах по поводу самого главного. Мы отдаем себя Бытию без остатка. Ни один вдох, ни одна мысль, ни один изъясн или

заусенец не могут быть меньше поглощены Бытием, чем есть на самом деле. И все же никто не может сказать, что есть Бытие. Если ты укажешь, что общего у мысли, и заусенца, или у тайфуна – с ростом фондового рынка, – то это будет «существование», что, по сути, является очередной констатацией следующего факта: все они присутствуют в списке известных нам предметов, имеющих наименование (и тогда может возникнуть впечатление, как будто ты пришел к важному выводу: бытие равняется существованию!). Тогда ты совершил бы удивительное открытие, хотя и слишком субъективное с вневременной точки зрения, что сводит его значение к нулю.

Я потерял нить повествования. Я говорил о том, что ты можешь утверждать о существовании чего-либо (Бытия), не имея ни малейшего представления о том, что это такое. Тогда возникает еще более важный вопрос: если Господь – Творец всего сущего, как можно говорить, что Господь существует? Возникает проблема со словоупотреблением. Ему пришлось бы изобрести некоего персонажа еще до существования, которое мы можем назвать только существованием из-за скудости нашего понимания. Это запутывает еще больше. Еще один термин потребовался бы для описания состояния или качества, которое мы не можем испытать, – бледное подобие нашего существования. Значит, создавать доказательства, основанные на опыте, – все равно что строить лестницу до луны. Сначала думаешь, что это реально, до тех пор пока не останавливаешься обдумать суть проблемы.

Поэтому мой совет таков: не ищи доказательств. Не думай о них вообще. Их никогда не хватает, чтобы ответить на вопрос, и они всегда кажутся немного нелепыми, вероятно, по той причине, что, придумывая доказательства, мы пытаемся вписать Бога в рамки нашего концептуального понимания. И такие доказательства покажутся неверными тебе самому, даже если с их помощью ты сумеешь убедить кого-то еще. В долгосрочной перспективе это вызывает большое беспокойство. «Да светят труды ваши перед людьми» – и так далее. Именно Кольридж сказал, что христианство есть сама жизнь, а не доктрина, во всяком случае, такой смысл он вкладывал в свои слова. Я не говорю тебе: не сомневайся и не задавай вопросов. Господь дал тебе разум, чтобы ты честно использовал его. Я говорю: ты должен быть уверен, что сомнения и вопросы родились у тебя, а не являются данью моде определенного времени.

Вчера ночью я не спал. Мое сердце истерзано. Странно ощущать

болезнь и печаль в одном и том же органе. И отличить одно от другого очень сложно. Я привык размышлять над печалью, то есть следовать за ней через желудочек в аорту, чтобы найти, где она прячется. Эта старая тяжесть в груди подсказывает: мне есть над чем задуматься, ибо я знаю больше, чем знаю, и я должен выяснить это у себя сам. Все та же добрая старая тяжесть тревожит меня в последние дни.

Но факт остается фактом: я так и не нашел иного способа быть с собой честным, кроме как обращаться к своим страданиям и несчастьям, этим обвинителям и укорителям, благослови их Бог. До тех пор пока они не убили меня. Я и в самом деле надеюсь умереть со спокойной душой. Мне известно, что это едва ли возможно.

Я закрываю глаза и вижу Джека Боутона, и мне кажется, он гораздо больше устал, нежели возмужал или повзрослел. И я думаю: почему я вечно должен защищаться от этого грустного старого юнца? Какого подвоха я жду от него?

Что ж, на самом деле этот вопрос не относится к разряду риторических. Сегодня утром твоя мама вручила мне от него записку. В ней говорилось: «Мне очень жаль, что я огорчил вас вчера. Больше я вас не побеспокою». У него хороший почерк. Как бы там ни было, по поведению твоей матери я понял: она знает, что в записке. Это был всего лишь сложенный клочок бумаги, но она никогда не стала бы читать ее, если бы он сам не показал ей. Вероятно, он рассказал, о чем написал. Или просто признался, что хотел извиниться. Я слышал, как они разговаривали на веранде, прежде чем она принесла мне записку. Вид у нее был печальный и взволнованный – из-за меня, из-за него, вероятно, или из-за нас обоих. Они общаются, я знаю. Не много и не часто. Но я чувствую, что между ними сложилось некое взаимопонимание.

Быть может, «взаимопонимание» – неподходящее слово, поскольку я никогда не говорил с ней о нем. Меня беспокоит именно тот факт, что она так мало знает о нем. Или, возможно, «взаимопонимание» как раз подходящее слово, независимо от того, что она знает или не знает. Не могу решить, какая мысль беспокоит меня больше. Наверное, ни один другой вопрос не доставляет мне более сильных переживаний.

Я отправил ему записку. В ней говорилось, что это я должен извиниться и что здоровье подводит меня в последнее время, и так далее, и что, надеюсь, у нас еще будет возможность поговорить снова. И твоя мать отнесла ему эту записку.

Я вспомнил о тех временах, когда ему было всего десять или

двенадцать и он забивал мой почтовый ящик опилками и поджигал их. В качестве фитиля он использовал бечевку, смазанную парафином. В то время почтовый ящик висел на столбе у ворот. Это был типичный продолговатый ящик с круглым верхом, какие довольно популярны в сельской местности. Я возвращался домой после встречи в церкви темным зимним вечером. Услышав хлопок, я осмотрелся, как раз когда языки пламени вырвались из этого ящика. Я не на шутку перепугался. И ни минуты не сомневался, чья это проделка.

Этот мальчик всегда был один, всегда ухмылялся и всегда был готов сделать пакость. Ему было не больше десяти, когда он укатил на «форде Т», который без дела стоял на улице в центре города. Тогда машины еще были в новинку, так что понятно, почему он заинтересовался. Он проехал на ней в западном направлении несколько миль, пока не кончился бензин, а потом просто пришел домой пешком. Двое молодых парней на лошадях приехали за машиной и отбуксировали ее в Уилкинсбург, где обменяли на охотничье ружье. Думаю, эта машина перебивала у половины жителей округа, так что пару месяцев она находилась в розыске. Потом большая семья, обменявшая на этот автомобиль телку, торжественно приехала в Галаад на празднование Дня независимости, и всех их арестовали. Полицейские пронюхали все про обмены, долговые записки и игры в покер, но так и не нашли первоначального вора. Как выяснилось, столько людей из покупавших и продававших машину было замешано в мелких преступлениях, что правовых ресурсов оказалось недостаточно, так что всю эту историю официально похоронили, а вспомнили лишь много лет спустя, после того как поняли, какая замечательная вышла история. Люди явно понимали, что машина краденая, но не могли устоять перед соблазном почувствовать себя ее хозяевами пусть ненадолго, тем не менее у них и не хватало смелости оставить ее себе. Поэтому цена оставалась весьма привлекательной, а соблазн продолжал расти.

Джек сам рассказал мне, что он натворил. В доказательство он предъявил ручку от отделения для перчаток, которую сохранил на память, но я и без этого поверил бы ему. Он даже в юности был проникателен и знал, что я никому не расскажу, и я не рассказал. Разумеется, я думал, его родители должны об этом знать, и все же у меня так и не хватило духу промолвить хоть слово. Я всегда немного благоговел перед детьми, которые могли хранить такую тайну, а ведь это похоже на самую настоящую сказку: десятилетний мальчик сделал преступниками половину жителей округа.

Есть в этом некая грусть, о которой я не могу умолчать. Я имею в виду

грусть в этом ребенке. Я помню, как однажды утром, выходя из дома, обнаружил, что ступеньки веранды намазаны черной патокой. На ней кишело столько муравьев, что они даже сваливались друг с друга. Они сидели на ней сплошной массой. Напрашивается вопрос: как одиноко должен чувствовать себя ребенок, чтобы тратить время на такие бесполезные занятия? Он разработал способ разбивать окна моего кабинета, так что стекло разлетелось вдребезги. Это было потрясающе. Я спрошу его, как он это делал, как-нибудь, когда наши души успокоятся и мы сможем посмеяться на эту тему.

Вот чем он занимался в детстве – балансировал между озорством и серьезным вредительством, если обобщить. Так я считаю, хотя кое-какие пакости и не хотел бы приписывать ему, но в глубине души всегда приписывал. Например, как-то загорелся хлев и при пожаре погибли животные. Быть может, я не прав, обвиняя его в этом.

Его поведение свидетельствовало о коварстве и одиночестве, и, по мере того как он взрослел, это усугублялось. Полагаю, я уже писал о том, что он не воровал в традиционном смысле этого слова, но под этим я подразумеваю, что он заимствовал вещи, которые, в общем, не имеют ценности, но дороги для тех людей, у которых он их взял. Никакого смысла в его действиях не было, если только он не ставил перед собой цель вызвать максимальное возмущение с минимальным риском получить по заслугам. Когда ему было пятнадцать или шестнадцать, он приходил ко мне домой, пока я был в церкви, и прихватывал то одну вещь, то другую. Не представляешь, как могут раздражать такие проделки! Однажды он взял этот старый греческий Ветхий Завет прямо у меня со стола. Если и была на земле вещь, менее привлекательная для вора, то я не знаю, что это. В другой раз он забрал мои очки для чтения. Был случай, что я вернулся, как раз когда он стоял прямо там в коридоре. Он просто засмеялся и сказал: «Привет, папа!» – самым милым и спокойным тоном. Мы немного поговорили, он держался в привычной ему манере. Мы улыбались, как будто нам было весело. Мне потребовалось время, чтобы понять, что пропало на этот раз. Потом я понял – маленький бархатный футляр с фотографией Луизы в детстве. Я разозлился как никогда. Подумать только, какая подлость! И как я мог сказать Боутону, что его сын сделал нечто подобное? Как у меня повернулся бы язык?

Рано или поздно все вещи возвращались. Греческий Ветхий Завет я обнаружил на придверном коврикe. Фотография нашлась на журнальном столике в коридоре Боутона самым загадочным образом и вновь попала ко мне в руки. Перочинный нож с названием города Шартр, выгравированным

на литой ручке, лежал на кухонном столе, он был воткнут в яблоко. Тогда меня все это расстраивало.

Потом он начал совершать поступки, из-за которых его имя попадало в газеты: воровал алкоголь, катался на чужих машинах и так далее. Я знал молодых людей, которые попадали в тюрьму или в виде наказания отправлялись на службу в морской флот за примерно такое же поведение. Но его семья пользовалась большим уважением, так что ему все сходило с рук. По сути говоря, ему позволялось позорить собственную семью.

Я заметил, что уже рассказал о том, каким одиноким он казался. И это было весьма странно, поскольку, как я уже говорил, Боутоны действительно любили его. Причем все члены семьи. Братья и сестры защищали его, что бы ни случилось. Когда он был маленький и прятался или убегал, они бросались на поиски с ответственностью взрослых, искренне надеясь найти его и вразумить, прежде чем он попадет в переплет. Я помню, как однажды летом высадил целый ряд подсолнухов вдоль заднего забора, около двадцати штук, наверное. Как-то днем маленькие Боутоны явились ко мне и спросили, где Джонни – так они его называли в то время. Я решил помочь им осмотреться и, к своему огорчению, обнаружил, что мои подсолнухи кто-то вырвал и перекинул через забор, так что их головки свисали с другой его стороны. Глори сказала:

– Возможно, это ветер.

Я ответил:

– Да, возможно и ветер.

Если бы мне пришлось выбрать лишь одно слово, чтобы описать его сейчас, я предпочел бы слово «одинокий», хотя «усталый» и «злой», безусловно, тоже приходят на ум. Как раз в тот период, когда он украл и еще не вернул фото Луизы, я пошел к Боутону за одной книгой. Мы сидели на веранде и разговаривали, а этот мальчик устроился на ступеньках, теребя и разглядывая рогатку, вслушиваясь в каждое слово, как я помню. Время от времени он поднимал на меня глаза и улыбался, как будто нас связывала какая-то забавная история или любопытный заговор. Меня это страшно раздражало. Он едва не спровоцировал меня на то, чтобы рассказать о фотографии прямо там и сейчас. Мне пришлось уйти, чтобы сдержаться. Он сказал: «Пока, папа!» Я отправился домой, дрожа от ярости. Быть может, теперь ты понимаешь, почему я был так возмущен его подлостью, когда всплыла эта история с юной девочкой.

Думаю, такие воспоминания не пойдут на пользу моему сердцу. Смысл в том, что он всегда был загадкой, вот почему я беспокоюсь из-за него и вот почему знаю, что не могу судить его так, как любого другого человека. То есть я не могу оценить его поведение с моральной точки зрения. Он попросту подлый человек. Что ж, мне не известно, остался ли он таковым. Но я действительно вижу, как и где он может навредить. Мне это предельно ясно. Когда я стоял на кафедре, мне в голову пришла мысль, как будто я смотрю на сидящих в церкви из могилы, и он находился там, рядом с тобой, и ухмылялся, глядя на меня...

От этих размышлений мне становится скверно. Лучше я помолюсь.

Сегодня утром меня разбудил запах блинов, к которым я питаю самые нежные чувства. Мое сердце уподобилось комку глины, застрявшему среди пищевода, и это после долгих, серьезных молитв. Твоя мать обнаружила, что я заснул в кресле, стянула с меня туфли и накинула одеяло. В последнее время я иногда лучше засыпаю сидя. Так мне легче дышать. Я пре-дусмотрительно спрятал этот дневник, прежде чем выключил свет вчера вечером. Знаю, мне еще предстоят долгие размышления по поводу Джека Боутона.

Сегодня день моего рождения, поэтому на столе стояли бархатцы, а на моей стопке блинов красовались свечи. Рядом лежали симпатичные маленькие колбаски. А ты продекламировал Заповеди блаженства без запинки два раза и прямо-таки светился от осознания масштабов этого достижения, как ты умеешь. Твоя мама дала одну колбаску Соупи, которая удрала с этим жирным куском и спрятала его неизвестно где. Наша Соупи, несомненно, потомок бесконечных поколений хищников, толстая, насколько это возможно, и одомашненная, насколько нужно.

Мне ненавистна мысль о том, что я готов отдать за тысячу таких чудесных дней. Хотя бы за два или три. На тебе была красная рубашка, а на твоей маме – синее платье.

И твоя мать нашла эту проповедь, о которой я много думал, по случаю Троицы, как раз в тот день, когда я впервые увидел ее. Она лежала у моей тарелки, завернутая в подарочную бумагу и перевязанная ленточкой. «Только не вздумай ее переписывать, – сказала она. – Это совершенно не нужно». И она поцеловала меня в макушку, что для нее было ярчайшим проявлением страсти.

Итак, теперь мне семьдесят семь.

Вчерашний день в целом прошел неплохо. Глори заехала за нами на

машине и отвезла на пикник у реки. Тобиас присоединился к нам, прекрасный Тобиас. Там были воздушные шары, и даже фейерверки, и шоколадный торт с шоколадной глазурью. Река была красива, хотя и обмелела, и медленно несла по течению первые желтые листья. Жалел я только о том, что плохо выспался и сердце причиняло мне беспокойство. Но праздник все равно вышел веселым. Глори с твоей матерью подружились, а вы с Т. могли бы вечно гоняться за листьями по реке и шлепать по лужам вдоль берегов.

Ночь после праздника прошла хорошо.

Я волнуюсь из-за того, что эти переживания доведут меня до смерти, если ты поймешь, о чем я говорю. Джек Боутон вернулся домой, к радости отца – моего дорогого друга. Насколько я знаю, он не причинял никому вреда и, насколько я знаю, не собирается его причинять. И все же одно его присутствие беспокоит меня.

Ты спросил, не собирается ли он присоединиться к нашей вечеринке. Ты был разочарован. Глори извинилась за него, а твоя мама ничего не сказала. Он явно решил проявить тактичность. Я могу только догадываться, что им известно и о чем они говорили. Неужели они могли не испытывать к нему жалость? Я испытываю. Меня глубоко огорчает мысль о том, что я не могу говорить с ним так, как подобает пастору, зная о том, какая беспокойная у него натура. Это немилосердно.

Одно из наибольших достоинств добрых людей в том, что их любовь сопряжена с жалостью. Однако для женщин это более характерно, чем для мужчин. Так их втягивают в ситуации, опасные для них самих. Я наблюдал это много-много раз. Мне всегда с трудом удавалось найти способ предупредить об этом. Ведь это воистину христианское поведение.

Он не ответил на записку, которую я ему отправил.

Я написал ему еще одну записку, где говорилось, как глубоко сожалею обо всех греховных помыслах, укоренившихся во мне, и так далее – и сам отнес ее Боутонам. Я собирался просто бросить ее в ящик, но Джек работал в саду и увидел меня, так что я передал ее сам. На самом деле мне показалось, он смутился, увидев записку. Я сказал ему, что это еще одно извинение, более обоснованное, чем предыдущее, а он поблагодарил меня, и я уверен, что различил истинное облегчение в его глазах. Подозреваю, он не читал первую записку, вероятно, решив, что в ней я упрекаю его. Он действительно вскрыл ту, что я принес, и прочитал ее, а потом снова

поблагодарил меня.

Я сказал:

– Если ты хочешь поговорить, буду рад тебя видеть в любое время.

И он ответил:

– Да, я действительно хочу поговорить с вами, если вы уверены, что вас это не потревожит.

Что ж, посмотрим, что из этого выйдет.

Я порадовался, что все разрешилось так благополучно. У меня камень упал с сердца. Признаю: отчасти я написал вторую записку по причине того, что не хотел, чтобы твоя мама жалела его из-за моих упреков. И все же я был доволен, что поступил именно так. Мне понравилось наблюдать, как меняется его лицо в тот самый момент. На мгновение он даже помолодел.

Опять бессонница. Я вспоминал утро, когда крестил Джека Боутона. Я попросил одного из дьяконов начать службу без меня, чтобы мне присутствовать там, в церкви Боутона. Мы все обговорили. Ребенка собирались назвать Теодор Дуат Уэлд. На мой взгляд, прекрасное имя. Мой дед каждый вечер слушал проповеди Уэлда на протяжении трех недель, пока не обратил целое поселение мягкотелых в аболиционизм, и старик причислял это к важнейшим достижениям своей жизни. Но когда я спросил Боутона: «Как ты хотел бы назвать ребенка?» он ответил: «Джон Эймс».

Я так удивился, что он повторил, и слезы заструились по его лицу.

Это было совсем не похоже на Боутона – поставить меня в такое положение. Это было прежде всего не по-пресвитериански. Я услышал, как кто-то из прихожан заплакал. Мне потребовалось время, чтобы простить его. Я всего лишь рассказываю тебе правду.

Если бы у меня был хоть час на раздумья, вероятно, я чувствовал бы себя совершенно иначе. А тогда сердце застыло у меня в груди, и я подумал: «Это *не* мой ребенок». До этого я никогда не думал так ни про какого другого ребенка. Не знаю точно, что есть томление, но, если судить по моему опыту, оно заключается не столько в том, чтобы желать обладания чьими-то добродетелями или счастьем, сколько отказываться от них и воспринимать их красоту как личное оскорбление.

Это интересно и дает пищу для размышлений, для проповеди. «Блажен тот, кто не соблазнится о Мне»^[27]. Вот самая главная мысль. Надеюсь, у меня будет время это обдумать.

Скажу тебе одну глупость. Время от времени мне казалось, что ребенок

почувствовал, как холодно я отнесся к его крещению и как далеки были мои мысли от того, чтобы благословить его. И вот что самое удивительное. Это явное суеверие. И мне стыдно, что я такое сказал. Но я пытаюсь быть с тобой честным. И я действительно ощущаю на себе груз вины перед этим ребенком, точнее, мужчиной, которого назвали в мою честь. Я так и не смог проникнуться к нему теплыми чувствами, никогда.

Я рад, что сказал это. Счастлив видеть эти слова, выведенные моей рукой. Потому что сейчас я осознаю, что это неправда. И это дарит невероятное облегчение.

Я в самом деле жалею, что не могу покрестить его снова ради собственного успокоения. Я настолько отвлекся на свои несчастные мысли, что не почувствовал божественной святости под собственной рукой, как бывало всегда, – это ощущение, что ребенок – благословение, ниспосланное мне. Очень жаль.

Джон Эймс Боутон – мой сын. Если есть хоть доля истины во всем, во что я верю, это тоже правда. Под «моим сыном» я подразумеваю иную ипостась, более избалованную. Мне не хватает вербальных средств, чтобы выразить мысль, но на данный момент это лучшее, что приходит на ум.

Я задумался о той части «Институтов» Кальвина, где говорится, что образ Господа в другом человеке – достаточное основание для любви к этому человеку и что Господь стоит и ждет, когда сможет взять на Себя грехи врагов наших. По сути, это отвержение сущности милосердия, когда мы считаем, что наши враги заблуждаются. Ведь это может быть только правдой. Мне кажется, люди склонны забывать, что мы должны любить врагов наших не для того, чтобы соблюсти определенный стандарт правильного поведения, а потому что Господь и Отец наш их любит. Наверное, я сотню раз читал проповеди на эту тему.

Не то чтобы я мог назвать Боутона-младшего своим врагом. Того, что мне известно о нем, для этого явно недостаточно. Кальвин говорит о крайностях: а fortiori^[28] с насколько большей готовностью я должен забывать грехи человека, который по отношению ко мне совершал не более чем мелкие пакости? Джек страшно расстраивал отца, и его всегда немедленно прощали. А я только расстраивал Боутона еще больше, когда он чувствовал, что я не тороплюсь прощать Джека. По большей части, я думаю, Боутон горевал из-за одиночества мальчика, который оставался чужаком для него и для всех нас.

А теперь я хочу заявить вот о чем, потому что именно эта мысль пришла ко мне, пока я открывал все это Господу. Существование

обязательно и священно. Если Господь решит пренебречь нашими грехами, значит они *есть* ничто. И какую бы природу они ни имели, она тривиальна и условна, за исключением первостепенного факта существования. Разумеется, Господь просто сотрет их, как я стираю грязь с твоего лица или слезы. В конце концов, с чего Господу беспокоиться из-за этих позорных поступков, которые не являются частью Его Творения?

Что ж, у Него есть на то много причин. Мы, люди, творим много страшных дел. Наша история могла бы даже из камня вышибить слезу. Я осознаю, как сильно сейчас путаются мои мысли. Я устал – возможно, этим все объясняется. Хотя я вспоминаю, как даже в расцвете лет терпел фиаско всякий раз, как пытался сопоставить истинную тяжесть греха с легкой милостью прощения. Если молодой Боутон – мой сын, то, следуя той же логике, я могу сказать, что его дочь была и моей дочерью. То, что случилось с ней, просто ужасно, это факт. Поскольку я христианин, иначе и сказать не могу.

Взглянув на эти мысли, которые записал вчера вечером, я понимаю, что избежал обсуждения самого главного вопроса. Как справиться со страхами, которые мучают меня относительно того, что Джек Боутон навредит тебе и твоей матери только потому, что он может это сделать исключительно из своей коварной, необъяснимой подлости? Сегодня утром ты уже дважды спросил о нем.

В строгом смысле вред, причиненный тебе, и вред, причиненный мне, – это не одно и то же, по большей части проблема заключается именно в этом. Он мог бы столкнуть меня с лестницы, а я разработал бы теорию, основанную на теологии, чтобы простить его, прежде чем докатился бы до нижней ступеньки. Но если бы он навредил тебе хоть малейшим образом, то, боюсь, теология подвела бы меня.

Если задуматься, это один из моих величайших страхов.

Но вот я слышу его голос на веранде. Он разговаривает с тобой и твоей матерью. Вы все смеетесь. Это приносит облегчение. В моих глазах он всегда выглядел как человек, который играет с огнем и терпит боль в настоящем, зная, что он на полшага отстоит от чего-то еще более страшного. Даже когда он смеется, у него именно такой вид, по крайней мере в моем присутствии, хотя я искренне верю, что всегда пытался не обижать его. О, я ограниченный человек и уже старый, а он так и останется в своей непостижимой смертной оболочке, когда я уже обращусь в пыль.

Я бесчисленное множество раз добирался до границ моего понимания, вторгаясь в эту пустошь, в этот Хорив, в этот Канзас. И я неоднократно пугался, когда, как мне казалось, уже прошел все вехи на своем пути. И это приносило мне невообразимое удовольствие. День и ночь, безмолвие и трудности – все это казалось мне исполненным энергии и добра. Полагаю, вести себя так мне рекомендовал Эдвард, а также мой преподобный дед, когда совершил тот побег в пустынные земли. Быть может, когда-то я представлял себя еще одним суровым стариком, готовым нырнуть под землю и тлеть до Страшного суда. Что ж, теперь я далек от этого. Замешательство, в котором я пребываю сейчас, – не изведенная для меня территория, из-за чего я начинаю сомневаться, что раньше мне приходилось сбиваться с пути.

Хотя я должен сказать, что все это позволило мне взглянуть по-новому на непрерывное существование этого мира. Мы улетаем, забытые, словно сны, разумеется, оставляя этот забывчивый мир позади, и он топчет, уродует и перемещает все, что когда-то было нам дорого. Уж так заведено, и это удивительно.

Джек принес тыквы – целый мешок. Твоя мама передала его семье зеленые помидоры. О эти поздние, странные дары лета, эти вытянутые тыквы и нелепые кабачки! Каждое дуновение ветра обрушивает на крышу град из желудей. До сих пор тепло. Какое-то время пауки повсюду плели паутину, и теперь вся эта паутина разорвана в клочья, так что можно вообразить, как сытые пауки прячутся в скукожившихся старых листьях, засыпая от одной только мысли о тяжком труде.

Я помню, как-то раз мой отец и дед сидели на веранде, разбивая и очищая грецкие орехи. Им нравилось проводить время вместе, когда они не ругались, то есть молчали, как и было в тот день.

Дед сказал:

– Лето закончилось, а нас так и не спасли.

Отец ответил:

– Такова воля Господа.

Потом снова воцарилась тишина. Они так и смотрели на орехи, не поднимая глаз. Они говорили о засухе, которая уже началась и должна была продолжаться долгие годы, – настоящее бедствие. Я помню, дул приятный легкий ветер, как сегодня. Нет занятия более скучного, чем очищать от скорлупы грецкие орехи, а эти двое делали это каждую осень. Моя мать говорила, что на вкус орехи напоминали бумагу, и я думаю, вряд ли кто-то мог бы поспорить с ней. Но они всегда росли у нее во дворе,

поэтому она всегда их использовала.

Вы с Тобиасом сидели на ступеньках веранды, сортировали тыквы по размеру, цвету, форме и выбирали самые лучшие, придумывая для них названия. Некоторые становились субмаринами, другие – бомбами. Полагаю, вскоре мне следует ждать очередного визита от отца Т. Все дети сейчас играют в войну. Все они издают звуки, изображая самолеты, бомбы, столкновения и взрывы. Мы делали то же самое: изображая пальбу из пушек и штыковые сражения.

Разумеется, этот факт не сильно ободряет.

Каким бы изменчивым ни был этот мир, удивительно осознавать: что-то в нем остается постоянным.

Я погрузился в размышления о проповеди, которую читал мой отец после того, как мятеж Эдварда стал достоянием общественности и он хорошенько обдумал это. Отец не любил ссылаться на примеры из личной жизни, за исключением самых абстрактных обобщений. Но в то утро он поблагодарил Господа за то, что Он наконец вложил в его ум хотя бы смутное представление о том, что такое вероотступничество, и за то, что Господь позволил ему понять, как он сам поступил подобным образом с отцом после войны, отправившись к квакерам и оставив отца нести тяжкое бремя в одиночестве. Он поведал о том, чего я никогда не слышал раньше: его мать, страдавшая от мучительной болезни и долгие месяцы не ступавшая в обитель Господа, пришла в церковь, когда узнала, что он подвел отца. Его сестры, которые тогда уже постоянно находились при ней, несли ее по очереди на руках, по дороге, ставшей для них, вероятно, невероятно долгой. Они опоздали, потому что мать только утром попросила их принести ее, и они все вспотели и оделись второпях, и, хотя торопились, старались быть очень аккуратными, потому что к тому моменту мать с трудом переносила любые прикосновения. Она была бледна как полотно и вся съежилась. Платье, которое они с таким трудом надели на нее, стараясь не причинять боль, свободно висело на ней. Они вошли в разгар службы в платьях для стирки, вспотевшие и без шляпок. Эми, самая старшая, несла мать на руках, как могла бы нести не самого большого ребенка. Отец сказал, что дед, читавший проповедь, остановился и уставился на них, потом снова взялся за текст, посвященный великой тайне страдания за других, как и все его проповеди в последнее время. Он читал проповедь еще пару минут и пару минут молился и благословлял прихожан, а потом подошел к жене, взял ее на руки, поцеловал в лоб и отнес домой, оставив паству на попечение методистов, которые любили

проводить долгие службы по воскресеньям.

«Не могу описать, какой стыд я испытал, – говорил отец. – Мои сестры рассказали о поступке матери, поскольку боялись, что она может настоять на том, чтобы пойти в церковь снова, если я откажусь. Эми сказала мне: «Если ты заставишь нас снова пройти через это, я буду ненавидеть тебя до конца своих дней!» И, конечно, я так больше не делал».

Мой отец говорил себе и всем нам, что прегрешения Эдварда совершенно обычны по сравнению с его собственными. Еще он говорил себе и всем нам, что была некая польза в этом замешательстве и разочаровании, которая сделала все это для него ценным и поучительным. Он видел в этом намек на то, что таким образом Господь проявил свою щедрость к нему, рассматривал произошедшее как параболу, предназначенную для углубления его собственного понимания. Такое толкование, разумеется, препятствовало, или по крайней мере не способствовало, любому импульсу, который он мог ощутить, чтобы обвинить Эдварда. Глупость любого человека, если представляется угодной Господу, не может служить достаточным оправданием для гнева.

Я и сам использовал эти аргументы много раз, когда чувствовал такую потребность и подворачивался подходящий случай. И факт в том, что на самом деле крайне редко случается так, что одному существенному прегрешению не предшествовал целый ряд других. Иными словами, мне никогда не было ясно, насколько такое понимание может помочь, когда дело доходит до проблем с обузданием гнева на практике. Подобным образом я не увидел способа применить такую же стратегию в настоящих обстоятельствах, хотя продолжаю пытаться.

Сегодня днем в церкви прошла весьма унылая встреча: явились лишь несколько человек, да и никаких результатов добиться не удалось. Подобные мероприятия всегда выматывают меня. Так что, вернувшись домой, я вздремнул и проспал до ужина. В доме было темно и пусто, когда я проснулся, и я вышел на веранду. Вы с мамой сидели на садовых качелях, завернувшись в стеганое одеяло. Она сказала:

– Возможно, это последняя теплая ночь.

Она подвинулась, чтобы я сел рядом, накрыла одеялом мои колени и положила мне голову на плечо. Это было невероятно приятно. Этим летом она высадила собственный «сад для совы», как она его называла, в роли совы выступал я. Она где-то вычитала, что белые цветы сильнее всего благоухают ночью, поэтому высадила белые цветы всех видов, известных ей, вдоль основной дорожки. Теперь осталась только пара роз да бурачок с петуниями.

Так мы и сидели там в темноте вместе, ты спал, как мог, а мать гладила тебя по голове. Потом послышались шаги. Конечно, это был Джек Боутон. Полагаю, он намеревался поздороваться и пойти дальше, но твоя мама пригласила его зайти, и он не отказался. Он прошел через ворота и сел на ступеньки веранды. Я заметил, что с ней он всегда ведет себя учтиво.

– Мы просто наслаждались тишиной, – сказала она.

Он ответил:

– Во всем мире не найти для этого лучшего места.

Потом, хотя и боясь, что его могут неправильно понять или что он может обидеть кого-нибудь, Джек произнес:

– На самом деле приятно тут погостить. – Он засмеялся. – Здесь есть люди, которые не знают меня с пеленок. Это чудесно.

Он закрыл рукой лицо, глаза. Было темно, но я узнал этот жест. Он всю жизнь его использовал, наверное.

Я сказал:

– Твой отец просто счастлив, что ты приехал.

Он ответил:

– Этот человек – святой.

– Возможно, это и правда, но ты все равно хорошо поступил, когда решил приехать сюда.

– Ах! – бросил он, как человек, под ногами у которого разверзлась пропасть.

На пару минут воцарилась тишина, потом твоя мама встала, вытащила тебя из одеяла и понесла в постель.

– Я тоже рад тебя видеть, – сказал я и не лукавил, потому что в этом плане разделял радость старого Боутона.

На это он не ответил.

– Я говорю это совершенно искренне.

Он вытянул ноги и прислонился спиной к столбу, подпиравшему крышу веранды.

– Не сомневаюсь, – сказал он.

– У меня есть целая стопка Библий.

Он засмеялся.

– Насколько она толста?

– В локоть или около того.

– Пойдет, наверное.

– Лишь два локтя могут облегчить твои душевные муки?

– Полностью. – И тут он вспомнил о хороших манерах. – Приятно было увидеть вас снова. И познакомиться с вашей женой. С вашей семьей.

Мы немного помолчали.

Я сказал:

– Ты произвел на меня впечатление тем, что знаешь Карла Барта.

– О, – произнес он. – Время от времени я пытаюсь взломать код.

– Что ж, – сказал я, – восхищаюсь твоим упорством.

Он ответил:

– Вы вряд ли стали бы им восхищаться, если бы понимали мои истинные мотивы.

Из всех людей на земле с ним, должно быть, сложнее всего вести беседу.

И я ответил:

– Не важно. Я все равно восхищаюсь.

Он ответил:

– Спасибо!

И мы помолчали еще немного. Вышла твоя мать с кувшином горячего сидра и чашками и тихо села с нами, эта милая женщина. И я задумался,

каково это было бы, если бы Джек Боутон и правда был моим сыном и вернулся, изможденный, после какой бы то ни было жизни, которую вел, и сидел здесь рядом со мной, спокойный и на первый взгляд умиротворенный, в эту тихую ночь. Эта мысль принесла мне глубокое удовлетворение. Я так много размышлял об идее милосердия, милосердия как восторженного огня, который обнажает основы основ. Там, в темноте и тишине, я почувствовал, что могу забыть все скучные подробности и просто ощутить присутствие его смертного и бессмертного существа. И меня охватило чувство, нечто вроде приятного страха, которое заставило подумать, что Боутон боится ангелов.

Что ж, возможно, я уже наполовину уснул в тот момент, но меня в очередной раз посетила мысль, которая уже некоторое время живет в моей голове. Я жалел, что не могу сидеть у ног этой вечной души и учиться. Тогда он действительно казался мне ангелом, по сравнению с тем, кем он был, ангелом, размышлявшим над тайнами своей смертной жизни, глубинными человеческими чувствами. И, разумеется, таков он и есть. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?»^[29] Крайне важно, что все мы – тайна друг для друга, и я действительно верю, что в каждом из нас живет отдельный язык, отдельная эстетика и отдельная юриспруденция. Каждый из нас – это маленькая цивилизация, построенная на осколках бесчисленных более ранних цивилизаций, но с собственными понятиями о том, что красиво и что приемлемо. И здесь нужно добавить, что мы сами, как правило, не дотягиваем до этих стандартов и нам приходится проявлять недюжинные усилия, чтобы их соблюдать. Мы принимаем случайные совпадения в характере с другими людьми за истинное сходство, потому что те, кто нас окружает, унаследовали те же традиции, расплачиваются той же монетой, признают в большей или меньшей степени те же понятия приличия и благоразумия. Но на самом деле все это лишь позволяет нам сосуществовать вместе, несмотря на то что нас разделяют огромные, нерушимые и непреодолимые пропасти.

Быть может, мне стоило написать, что мы далеки друг от друга, как планеты. Но тогда я в некотором роде лишил бы смысла собственные слова о том, что мы подобны цивилизациям. Возможно, все планеты отпочковались от одной звезды, однако историческое измерение к этому сравнению не применимо, и это правда, что все мы живем на обломках жизней иных поколений, отсюда проистекает мнимая неразрывность, которая имеет огромное значение, ибо вводит нас в заблуждение. Я достаточно стар, чтобы помнить, как мы отправлялись в лес целой

компанией, окружали кусты, а потом сходились, загоняя зайцев в центр круга, так что они оказывались в ловушке, а потом забивали их палками и битами. Это было во времена Великой депрессии, люди голодали, и мы делали все, что могли. Я не придираюсь. (Мы не нападали на чернохвостиков, только на белых зайцев. Все знали, что чернохвостиков по какой-то причине трогать нельзя, хотя не помню, чтобы кто-то объяснял, почему.) Некоторые ели сурков. Отправляясь в школу, дети брали с собой на обед корзинки, где лежала лишь вареная картошка да кусок хлеба, намазанный свиным салом. Тогда окна церкви так зарастали пылью, что я забирался на стремянку и смахивал ее метлой, чтобы внутри было достаточно светло и люди могли читать гимны по книге.

Ужасные были времена, но так уж сложилось, и мы очень привыкли к такому образу жизни. Такова была наша цивилизация. Долина теней. С таким успехом это место могло бы быть Уром Халдейским, если учесть, скольким людям о нем известно. И за это я благодарю Господа, конечно, хотя, раз уж так должно было случиться, не жалею о том, что провел здесь все эти годы. Это дает возможность иначе взглянуть на многое. Я слышал, люди говорили, что это научило их ценить в жизни не только безопасность и материальные блага. При этом я знаю в округе много пожилых людей, которые, памятуя о былых тяжелых временах, и с пятицентовиком не готовы расстаться. Я не могу их за это винить, хотя это означает, что церковь только сейчас начала выбираться из собственной Великой депрессии. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет»^[30]. Многое в нашем городе подтверждает истину этого учения. Что ж, церковь обветшала по той же причине, по которой она до сих пор сохранилась. На самом деле мне грех жаловаться. Это хорошо, когда ты знаешь, что значит – быть бедным, но еще лучше, когда у тебя для этого есть компания.

Полагаю, они подумали, что я задремал, как это часто бывает, – я и сам знаю за собой эту привычку. У них завязался разговор. Твоя мама сказала, стараясь говорить потише:

– Вы уже решили, как долго пробудете здесь?

Он ответил:

– Боюсь, всем и так кажется, что я здесь задержался. А вот мне – едва ли.

Они помолчали, потом она поинтересовалась:

– Собираетесь вернуться в Сент-Луис?

– Возможно.

Снова пауза. Он чиркнул спичкой. Я почувствовал запах сигарет.

– Хотите?

– Нет, спасибо. – Она засмеялась. – Так я не отказалась бы. Просто жене священника курить не подобает.

– «Просто не подобает»! Можно подумать, за вами кто-то следит.

– Я не возражаю, – сказала она. – Кто-то должен был преподать мне урок рано или поздно. На сегодняшний день я уже так долго веду себя как подобает, что мне это почти нравится.

Он засмеялся.

Она сказала:

– Мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к этому месту. Это факт.

– Ну, для меня такой проблемы нет. Мне здесь все знакомо, так что я чувствую себя нормально. Есть, правда, такое ощущение, как будто я вернулся на место преступления.

Через мгновение она сказала:

– Все говорят о вас только хорошее, знаете?

– Правда? Это интересно. Наверное, я должен вам поверить.

Она засмеялась:

– Я уже много лет не врала.

– Хм. Звучит так, как будто это утомительно.

– Говорят, ко всему можно привыкнуть.

– Преподобный Эймс не предупреждал вас на мой счет? – спросил он.

Она нашла мою руку и обхватила ее своими теплыми ладонями.

– Он не говорит о людях плохо. Никогда.

В воздухе повисла тишина. Мне было настолько неуютно, насколько можно было представить, и я уже собирался подать признаки пробуждения, чтобы выпутаться из столь неприятной ситуации. Получалось так, словно я шпионю за ними.

Тут твоя мама произнесла:

– Я как-то была в Сент-Луисе. Мы туда ездили, пытались найти работу. – Она засмеялась. – Не повезло.

– Там не самое подходящее место для того, чтобы жить бедно, – сказал он.

– Если где-то хорошо жить бедно, то я таких мест не видела. А я уже все пересмотрела.

Они засмеялись.

– В детстве я думал, что спокойная жизнь – это то, что происходит с тобой, если ты недостаточно осторожен, – сказал он.

– Я была умнее, – ответила она. – Мне хотелось только одного:

я подглядывала ночью в окна людей, потому что мне было интересно, что там творится.

Он засмеялся:

– Именно так я и собирался провести этот вечер.

Воцарилась тишина.

– Что ж, – произнесла она очень нежно, – что ж, Джек, благослови Бог вашу душу.

И он ответил:

– Ну, спасибо вам за теплые слова, Лайла. – Потом встал. – Пожелайте преподобному доброй ночи от меня. – И он ушел.

Я пролежал с открытыми глазами в кровати всю ночь, если не считать того времени, которое провел за письменным столом, когда писал и обдумывал все это. Разумеется, меня тронуло то, что твоя мама гордится моим умением не критиковать кого-либо. Я в самом деле стараюсь этого избегать, хотя ты прекрасно знаешь, как тяжело мне это давалось в этом конкретном случае.

Однако меня потрясло изумление Боутона-младшего из-за того, что я, как он выразился, не предупредил ее на его счет. Возникло впечатление, как будто он считал, что я проявил небрежность. А кто может судить об этом лучше, чем он сам? Он может подумать, что мне известно то, что мне на самом деле неизвестно. Может посчитать, что старик Боутон доверил мне больше, чем на самом деле, или что разговоры о нем доходили до моих ушей, как обычно и бывало, но довольно редко. Я всегда подозревал, что люди проявляют исключительный такт, когда речь заходит о нем.

«Место преступления». Это была шутка, я почти уверен. Но это приводит меня к размышлениям о том, какие страдания, по моему мнению, причиняет ему пребывание *здесь*, где что-то до сих пор может причинить боль или заставить устыдиться.

Жаль, я не могу положить ладонь ему на лоб и прогнать всякое чувство вины или сожаления, которое преувеличено, или находится не на своем месте, или не может быть отпущено в этом мире. Тогда я понял бы, с чем имею дело.

С теологической точки зрения, это совершенно неприемлемая картина. Она просто промелькнула у меня в голове. Мне жаль, что это произошло.

Поскольку сейчас я пытаюсь быть честным, то должен кое-что отметить. Резкость пропала из его голоса, когда он говорил с твоей матерью. Я бы сказал, он почти расслабился. Разговор звучал так, как

будто он общался с другом. Да и она тоже.

Полагаю, я начал понимать, в чем именно для меня кроется милосердие в происходящем. Я усердно молился, какое-то время поспал и чувствую, что уже появляется какая-то ясность.

Я никогда не бывал в Сент-Луисе, о чем теперь глубоко сожалею.

Я просмотрел то, что написал, и понял, что порой уделял чрезмерное внимание собственным беспокойствам, хотя изначально намеревался поговорить с тобой. Я хотел оставить тебе честное завещание, представляющее меня в лучшем свете. Теперь мне кажется, что ты прочитаешь здесь только о старике, который сражается с трудностями понимания того, с чем он сражается.

Однако я, наверное, нашел способ выбраться из лабиринта этой скучной навязчивой идеи. Тут стоит попытаться счастья. Итак, когда я сидел там, на веранде, вчера вечером и более или менее притворялся, что сплю, а твоя мама взяла меня за руку и обхватила ее ладонями, я испытал великое счастье. Я даже написал об этом – вспомни фразу о теплых руках – и обратил внимание, что она говорила обо мне намного лучше, чем я заслуживаю. Лишь вспомнив об этом, я осознал, что она говорила о своей спокойной жизни, о которой всегда мечтала, так, словно никогда не лишится ее, хотя с практической и материальной точки зрения она, конечно, понимала, что все изменится. Это тоже меня порадовало. Вспомнив их слова о том, как они заглядывали в окна, чтобы узнать о жизни других людей, я почувствовал, что нашел бы с ними общий язык. Я мог бы сказать, что это касается всех троих, ибо Господь свидетель, сколько лет я делал то же самое. Но в тот самый момент, когда она произнесла это именно таким голосом, мне показалось, как будто на все вопросы о жизни ответила она, раз и навсегда, и если это правда, то это чудесно. Эта мысль приносит мне успокоение.

Мне как-то приснилось, что мы с Боутоном ходили по реке, выглядывая что-то на отмели (в детстве мы искали головастиков), а мой дед выслеживал нас, прячась в деревьях, с присущей ему яростью, потом набирал полную шляпу воды и выплескивал ее, направляя на нас настоящее цунами. Капли вуалью повисали в воздухе, а потом обрушивались на нас. Потом он снова нахлобучивал шляпу и удалялся в заросли, а мы так и оставались стоять у переливающейся реки, изумляясь друг другу и сверкая, словно апостолы. Я говорю об этом потому, что мне

кажется, такие внезапные трансформации и правда случаются в нашей жизни, причем случаются неожиданно и независимо от нашего желания и подрывают наши надежды и чаяния. Я задумался над этим, размышляя о том дне, когда впервые увидел твою маму в этот благословенный праздник Троицы.

Сегодня утром меня посетило такое ощущение, как будто мою душу выманивают из тела, и это факт. Я никогда не рассказывал тебе, как мы договорились пожениться. И я многое узнал на собственном опыте, поверь мне. Это расширило мое понимание надежды – осознание того, что такая трансформация может произойти. И значительно подсластило образ смерти, возникший в моей голове, как бы странно это ни звучало.

Хотя я твердил себе, что не заметил ее в то первое утро, я всю неделю надеялся, что она вернется. Я постоянно упрекал себя за то, что забыл спросить, как ее зовут, когда она вышла, и думал об этом в свете моих обязанностей перед «заблудшими овцами» и «заблудшими душами». Эти выражения я никогда не использую, даже в мыслях, и уж точно не стал бы применять к ней. Интереснее всего было то, что я просто не мог быть честным с самим собой, да и обмануть себя у меня не получалось. Это было ужасно. Я чувствовал себя таким глупцом. Понимаешь, меня беспокоила ее юность и наша разница в возрасте, я ничего о ней не знал, замужем она или нет. Так что не мог признаться себе в том, что просто хотел *увидеть* ее, услышать ее голос снова. Она сказала: «Доброе утро, ваше преподобие», – и все. Но я помню, как пытался восстановить в памяти звучание ее голоса, прокручивая слова в голове снова и снова.

И я скажу тебе вот что: если мой дед и правда, образно говоря, набросил на меня свою сутану, то он сделал это задолго до того, как я появился на свет. Святость его жизни вошла в мою и стала моим призванием, которое я пытался не преуменьшать по мере своих сил. Я старался следить за репутацией и характером. Пытался жить и проповедовать по Слову Божию. И вот я сидел за столом, стараясь написать проповедь, но на самом деле мне не хотелось делать ничего, а лишь вспоминать лицо этой молодой женщины.

Если бы у меня уже имелся такой опыт, я был бы гораздо мудрее и проявил бы больше сострадания. На самом деле я не понимал, что заставляло людей, которые приходили ко мне, проявлять такое равнодушие к верным суждениям, к здравому смыслу или почему они говорили: «Я знаю, я знаю», когда я пытался хоть немного вразумить их, и почему это означало «Это не имеет значения, мне все равно». Вот что говорят святые и мученики. А еще я знаю, что, когда речь идет о расточительстве, ими

движет именно страсть. Быть может, возникает впечатление, что я сравниваю что-то великое и святое с мелкими обыденными явлениями, как любовь Господня и любовь земная. Если нас при помощи чуда Господа можно накормить крупицей и благословить прикосновением, то невероятный восторг, с которым мы разглядываем отдельное лицо, точно может создать у нас представление о величайшей любви. Я искренне верю, что это правда. Я помню, как в те дни любил Господа за существование любви и испытывал благодарность к Господу за существование благодарности, даже в самых глубинах несчастья. Я осознал многое, что не могу выразить словами. Разумеется, эти чувства немного потеряли остроту со временем, и это дар Божий.

Мы с Луизой собирались пожениться почти с детства. Так что я не был готов к ежедневным и еженощным размышлениям о совершенной незнакомке – женщине слишком молодой и, быть может, замужней. Впервые в жизни я почувствовал, что меня могут буквально вырвать из моего характера, призвания, репутации, как будто все это способно просто отвалиться, как высохшая шелуха. Никогда раньше не ощущал, что в собственных представлениях я – это одежда на моем теле, книги на полках и календарь, в который я вносил обязательства, требующие исполнений, и обязательства исполненные. Как я уже говорил, это было предвкушение смерти, по крайней мере умирания. И почему это должно показаться странным? В конце концов, для обозначения такого явления мы используем слово «страсть».

Что ж, проблема усугубилась. Она приходила каждое воскресенье, пропустив лишь одно, а я писал и писал эти проповеди. Признаю: я хотел понравиться ей и произвести на нее впечатление. Я изо всех сил боролся с собой, чтобы не смотреть на нее слишком часто или слишком долго, но я тем не менее убеждал себя, что видел на ее лице некое разочарование и потом проводил следующую неделю в коленопреклоненных молитвах, прося о том, чтобы она дала мне второй шанс. Я чувствовал себя так нелепо. Но я все равно попросил бы у Господа того же, умоляя дать мне силы во имя лучшего исполнения моих пасторских обязанностей. При этом ни капли правды в моих словах не было: я вел себя, как старый глупец, упрасивавший Всемогущего закрыть глаза на скудоумие несчастного, и прекрасно осознавал это в тот момент. И мои молитвы услышаны, и сбылось даже то, о чем я и мечтать не смел. Жена и ребенок. Я никогда не поверил бы в это.

А потом наступило это ужасное воскресенье, когда она не пришла. Каким безжизненным, грустным и душным казалось то утро, каким убогим

казалось все вокруг, да и сама церковь. Разумеется, моя проповедь в тот день касалась доброго отношения к незнакомцам, ибо, сами того не зная, мы можем «проявить гостеприимство к Ангелам». Мне было страшно неприятно проповедовать тогда. Я чувствовал, что все в помещении знают, что я стою там и открыто признаюсь в своем глупом поведении. Мне казалось неизбежным, что она больше не вернется. Так я провел ужасную неделю, покорившись ничтожности моей жизни, ее тусклости, и благодарил Господа, что не выставил себя полным дураком, ведь я никогда не хватал ее за руки в дверях и не пытался заговорить, хотя в уме проигрывал наш разговор и даже записал его. Также надо сказать, я ненавидел себя за то, что мне не хватило ума взять ее за руку и заговорить. Всю неделю я пытался заставить себя описать, что влекло меня к ней так сильно, – почему-то я решил, что поскольку не могу объяснить, влечение рассеется. И всю неделю я скучал по ней, как будто она была единственным моим другом на этой земле. (Кроме того, я немного поразмыслил над практической задачей – узнать ее имя, выяснить, где она живет, и прикрыться при этом заботой святого отца. Как унижительно.)

В следующее воскресенье она явилась снова. Я был несчастен и в то же время испытывал чувство облегчения, боялся, что засмеюсь без причины, боялся, что слишком долго буду смотреть на нее, пытался напомнить себе, что она *незнакомка*, хотя именно ей были посвящены мои самые интимные и сокровенные мысли на протяжении многих недель. Еще я опасался, что могу напугать ее некой необъяснимой фамильярностью. Я побывал у парикмахера и надел новую рубашку, поскольку было благоразумно уповать на то, что мои постоянные, страстные и совершенно недостойные молитвы будут услышаны. И я немного поэкспериментировал со средством для тонирования волос. По дороге я встретил Боутона, как это часто случалось, – он взглянул на меня и захихикал, а я подумал, что я полный и явный глупец.

Когда она уходила из церкви в тот день, я все же взял ее за руку и сказал пару слов:

– Нам не хватало вас на прошлой неделе. Очень хорошо, что вы снова пришли.

– О, – произнесла она, вспыхнула и отвернулась, словно любезность удивила ее, хотя это была элементарная и совершенно обычная любезность со стороны святого отца – при таких обстоятельствах я чувствовал, что большего себе позволить не могу.

«Я изнемогаю от любви»^[31]. Это Священное Писание. Вспоминая об этом, я смеюсь: во времена личного кризиса я обратился к Библии, как

делал всегда. И из всего выбрал Песнь Песней! Я мог бы почерпнуть из нее, что страдания, сродни моим, прекрасны в глазах Господа, если бы я был моложе и точно знал, что твоя мать не замужем. А тогда красота стихов просто тронула мои чувства.

О, а на *следующей* неделе я взял ее за руку и сказал, что по вечерам в воскресенье провожу занятия по Библии и буду очень рад ее видеть. Потом я отправился домой и помолился, чтобы мое лукавство было вознаграждено, и снова побрился и попытался читать, пока не наступил вечер. Я пришел к церкви пораньше, и она была там, ждала меня у лестницы, надеясь перемолвиться со мной парой слов. На том этапе я начал подозревать, как это бывает иногда, что милостивый Господь хорошо посмеялся, когда ниспослал мне такую благодать. Она доверительно сообщила этой недостойной старой деревенщине, надушившему волосы, что пришла в надежде на крещение.

– Никто не позаботился об этом, когда я была ребенком, – сказала она. – И я чувствую, как мне этого не хватает.

О, эта печальная острая чистота ее взгляда!

Я ответил:

– Что ж, дорогая, мы о вас позаботимся.

Потом самым небрежным образом я поинтересовался, живет ли ее семья неподалеку.

Она покачала головой и сказала очень тихо:

– У меня вообще нет семьи.

Мне стало грустно за нее, и все же в глубине моей измученной души я поблагодарил Господа.

Так я стал наставлять твою маму в вопросах веры, и со временем действительно крестил ее, и привык видеть ее, привык к ее тихому присутствию, и начал воздавать благодарности за то, что пережил апогей страсти, не испортив доброе имя и репутацию, не преследуя ее на улице (однажды я едва удержался, когда увидел, как она вышла из бакалеи и направилась в другую сторону). Я так себя запугал в тот момент, что весь покрылся испариной. Вот как силен был мой порыв. А ведь мне было *шестьдесят семь*. Но я всегда вел себя последовательно и благоговел перед ее молодостью и одиночеством, за это я могу поручиться. Я проявлял величайшую осторожность. Я подумал, что лучше всего будет привлечь несколько добрейших пожилых женщин, которые посетят занятие вместе с ней, но, полагаю, из-за этого она стеснялась говорить, так что я сожалею о таком решении.

Две или три дамы огласили свои взгляды на доктрину, в частности, на грех и осуждение на вечные муки, и эти взгляды им явно внушил не я. Я возлагаю вину на радио, поскольку оно сеет сухую сумятицу в том, что касается теологии. А телевидение еще хуже. Можно сорок лет учить людей оставаться восприимчивыми к пониманию тайны, а потом какой-нибудь парень, который разбирается в теологии не лучше обезьяны, добирается до радио, и вся твоя работа летит в тартарары. Интересно, когда это закончится.

Но даже это обернулось мне на пользу, ибо одна из дам – Веда Дайер – сильно разволновалась, рассуждая об огне, то есть вечных муках, так что я почувствовал необходимость взяться за «Институты» и зачитать им отрывок о жребии нечестивцев, где говорится о том, что их муки «фигурально описываются для нас при помощи физических объектов» в виде негасимого огня и так далее, чтобы пояснить, «насколько невыносимо быть разлученным с Господом». Эти строки сейчас лежат передо мной. Разумеется, они вызывают волнение, но отнюдь не кажутся нелепыми. Я сказал им, что, если вы хотите узнать о природе ада, не держите руку над пламенем свечи, просто задумайтесь над тем, в каком уголке вашей души скрываются гнев и одиночество.

Они все, как и я, задумались ненадолго, вслушиваясь в вечерний ветер и пение цикад. Я чуть не разволновался, представив, какое одиночество ждет меня впереди, и вкусил его горечь по-новому. Как же я ненавидел в тот момент эту скрытность и отречение от мирских радостей, необходимость проявлять приличия, которых от меня требует паства и налагает здравый смысл. Но, когда я поднял глаза, твоя мама смотрела на меня и едва заметно улыбалась. Она тронула мою руку и произнесла: «У вас все будет хорошо».

Какой нежный у нее голос! Подумать только, что на земле может быть такой голос и именно мне выпало счастье слушать его, – так мне казалось тогда и кажется сейчас, это неисчерпаемая милость Господа.

Она начала ходить ко мне домой, как и другие женщины. Забирала в стирку занавески, размораживала холодильник. А потом по собственной инициативе взяла на себя уход за цветами. От ее заботы они расцвели и стали еще прекраснее. Однажды вечером, увидев ее там у великолепных роз, я сказал:

– Как мне отплатить вам за все это?

И она ответила:

– Вы должны жениться на мне.

Так я и поступил.

Вот как я думаю: если мне было суждено возложить ладонь ей на лоб и просто благословить и если бы я был настоящим наместником Господа, то мог бы надеяться, что она испытала то же, что и я в свое время. О, я знаю, она любит меня и предана мне до глубины души. Но я смел бы надеяться, что когда-нибудь Песнь Песней изумит ее, затронет сердце. По правде говоря, я не могу заставить себя поверить, что ее чувства ко мне хоть как-то похожи на мои. Да и с чего я так переживаю из-за этого Джека Боутона? Любовь священна, потому что она сродни милости Божьей: достоинство объекта никогда не имеет особого значения. Быть может, я оставляю ее на этой земле для того, чтобы она познала большее счастье, чем подарил ей я, а не трудности. Иногда мне кажется, что я замечал в ней зачатки чего-то подобного. Если Господь позволил мне на мгновение стать свидетелем милости, которую предназначил для нее, то я буду расценивать это как знак величайшей доброты к моей персоне.

Сегодня утром великолепный рассвет озарил наш дом по дороге в Канзас. На рассвете Канзас выкатился из сна, залитый солнцем, громко провозгласив о своем величии и сотрясая небеса. Наступил еще один из этих редких дней, когда старую прерию называют Канзасом или Айовой. Но все было сделано за один день, в тот самый первый день. Свет постоянен, мы просто вращаемся в нем. Так что каждый день, по сути, начинается с одного и того же утра и заканчивается одним и тем же вечером. Могила моего деда обращается к свету, а роса на его заросшей сорняками могильной плите просто великолепна.

«Ты находился в Едеме, в саду Божиим; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото...»^[32]

Мне пришло на ум, что, когда состаришься, ты, возможно, захочешь составить о себе некий рассказ, как я делаю сейчас. Если судить по моему опыту, с возрастом сложнее сохранять восприятие самого себя, оно становится менее «здоровым», если можно так выразиться.

Почему мне нравится воображать тебя старым? Я размышляю о первом уколе артрита в твоём колене с той же нежностью, которую испытал, когда ты показал мне выпавший зуб. Молись как можно усерднее, старина. Надеюсь, у тебя будет больше возможностей увидеть мир, чем было у меня, но винить в этом я могу лишь себя одного. Еще я надеюсь, что ты прочитаешь кое-какие из моих книг. И благослови Бог твои глаза и твой слух, и, конечно, твое сердце. Жаль, я не смогу разделить с тобой груз

прожитых лет. Зато Господь позаботится о тебе, как отец.

Странный выдался день, волнительный. Зашла Глори и пригласила вас с мамой в кино. Потом, когда она заехала за вами, ее сопровождал старый Боутон. Она помогла ему выбраться из автомобиля, пройти по дорожке к дому и подняться по лестнице. Теперь он так редко выходит из дома, что я действительно удивился, обнаружив его у своей двери. Мы усадили его за кухонный стол, налили стакан воды, а потом вы втроем ушли. Вся эта суэта, казалось, утомила его: он просто сидел с закрытыми глазами, покашливая время от времени, как будто хотел поговорить, но потом передумал. Я нашел интересную радиопередачу, и мы послушали немного. Боутон изредка смеялся, когда происходило что-то интересное. Наверное, он просидел так почти час, прежде чем заговорить.

Потом он сказал:

– Знаешь, Джек так и не примирился с собой. Пока у него не получается.

И он покачал головой.

Я сказал:

– Мы говорили об этом.

– О да, он разговаривает, – заметил Боутон. – Но он так и не объяснил мне, почему приехал сюда. Да и Глори не рассказывал. Ему должны были предложить какую-то работу в Сент-Луисе. Не знаю, что из этого вышло. Мы думали, он, возможно, женился. Полагаю, какое-то время так оно и было. Правда, я не знаю, что с этим случилось, как и в предыдущем случае. Похоже, у него есть какие-то деньги. Но я ничего об этом не знаю, – произнес он. – Я знаю, что он общается с тобой и миссис Эймс. Это мне известно.

Потом он снова закрыл глаза. Казалось, ему тяжело говорить, думаю, это объяснялось тем, что ему не хотелось изрекать те слова, которые он только что произнес. Я воспринял их как предостережение. Я не видел иного способа взглянуть на это. И я воспринял его приход к нам как способ смягчить эти слова, и, несомненно, таково было его намерение. Теперь я еще больше укрепился в мысли, что нужно поговорить с твоей матерью.

Боутон-младший взошел на веранду, пока мы еще сидели там. Я сказал: «Входи», – и подвинул к нему стул, но он минуту-две стоял у двери, оглядывая нас и делая выводы, весьма близкие к истине, если судить по выражению его лица. Похоже, он всегда подозревает, что люди объединяются против него. И, несомненно, в этом есть доля истины – так случалось довольно часто, как и в тот самый момент. И в его поведении

чувствуется разочарование и смущение, когда он видит притворство насквозь, а это ему удается почти всегда. И мне стыдно, что я участвую в этом, и я сочувствую ему. Еще я ощущаю гнев, и это меня беспокоит.

Джек сказал:

– Я приехал домой, а там никого не было. Я пришел в недоумение.

Боутон произнес добродушным тоном, который еще не разучился применять для тех случаев, когда хочет изобразить, будто говорит искренне:

– Мне так жаль, Джек! Мы с Эймсом решили присмотреть друг за другом, пока женщины отдыхают в кино! Мы думали, ты удержишься.

– Да. Что ж, понимаю, я ничего плохого не имел в виду, – произнес он и сел, когда я снова предложил ему стул. Потом он уставился на меня, нацепив эту полуулыбку, как всегда, когда хочет, чтобы вы понимали: он знает, что происходит на самом деле, и не может поверить, что вы продолжаете дурачить его. Боутон заклевал носом, как поступает всякий раз, когда разговор становится сложным, и я не могу его за это винить, хотя и мне нужно беречь сердце. Потому что мне было довольно сложно придумать, что сказать Джеку, как и всегда, впрочем. Мне было жаль его, это факт. На мой взгляд, это проклятие – видеть людей насквозь, как он. Конечно, я не мог быть с ним честен и в самом деле старался не откровенничать, а он наблюдал за мной, словно я самый отвратительный лжец в мире, словно я оскорбляю его. И, наверное, он был прав.

– Твоему отцу захотелось выйти из дома, – пояснил я.

Он ответил:

– Это можно понять.

На самом деле глупо было говорить такое, если учесть, что все прогулки Боутона ограничиваются перемещением между кроватью и креслом на веранде.

Я сказал:

– Полагаю, он хотел воспользоваться хорошей погодой, пока она не испортилась.

– Уверен, что это так.

– Что ж, – произнес я через минуту, – отличный год выдался для желудей. – Жалкая попытка. Джек расхохотался.

– Вороны устроили знатное представление, – сказал он. – Да и тыков уродилось много, и формы их впечатляют, на мой взгляд.

Все это время он буравил меня взглядом, словно хотел сказать: давайте будем честны друг с другом хотя бы пять минут.

Что ж, мне следует извиниться, что на самом деле не знаю, где правда.

Я действительно верю, что его отец пришел сюда, по сути, предупредить меня на его счет, но все-таки сомневаюсь. Как бы там ни было, я едва ли могу предать доверие. Уж точно не в том случае, когда оно имеет природу столь хрупкую и такой поступок может вызывать настоящую катастрофу, и, разумеется, не тогда, когда дело касается бедного старого Боутона, который сидит сейчас в трех футах от меня и, вероятно, слушает весь наш разговор. Но обман есть обман, и это унижительно, когда тебя ловят за таким занятием, особенно если у тебя нет иного выбора, кроме как продолжать врать, спасая ложь, как только можешь, под бдительным оком самого негодования, так сказать.

С другой стороны, будучи человеком пожилым, который на пару лет старше его отца, несмотря на относительную бодрость, я чувствую, что имею право не поддаваться на такие провокации. Если цель состояла в том, чтобы разозлить меня, то я уже разозлился, пока писал эти строки. Мое сердце задумало что-то, что волнует все мое тело. Я должен пойти помолиться. Интересно, что он знает о моем сердце?

Ну, разумеется, он должен многое знать о моем сердце, поскольку твоя мама привлекла его к помощи при переносе моего кабинета вниз.

Когда я молюсь об этом, мне вспоминается печаль, которую я вижу в нем. Его следует простить уже хотя бы за эти странные муки.

Когда вы трое вернулись, а это случилось довольно быстро, все пошло на лад. Глори сначала, похоже, немного удивилась, обнаружив Джека у нас, зато твоя мама обрадовалась, увидев его, как и всегда, полагаю.

Тебе понравился фильм. Тобиасу не разрешают ходить в кино, так что ты принес ему почти половину своего пакета с попкорном, и я подумал, это довольно мило с твоей стороны. Интересно, а следует ли тебе ходить в кино? Раз уж в доме есть телевизор, не вижу смысла запрещать кино. Разумеется, Тобиасу и телевизор смотреть не дают. Твоя мама пообещала его матери, что мы проследим за тем, чтобы телевизор в его присутствии не включался, когда он приходит в гости, а это случается достаточно часто, для того чтобы ты успел соскучиться по своим мультяшкам. Ты не самый общительный мальчик на свете, и я побаиваюсь, что при выборе между Тобиасом и телевизором твой лучший друг останется в одиночестве. Он и так проводит в ожидании на веранде больше времени, чем следовало бы. Временами ты казался нам одиноким, и тут появляется Тобиас – достойный паренек, ответ Господа на все наши молитвы, а ты заставляешь его ждать на веранде, пока не закончится какой-нибудь мультфильм. Но в последнее время я не очень настроен на запреты. Отец Т. еще молод. Он

проведет со своими мальчиками еще долгие годы, если Господь будет милостив.

Что ж, вы трое пришли с довольным видом и запахом попкорна, и я испытал такое облегчение, что и передать не могу. Поговорив немного с твоей матерью, Глори помогла Боутону дойти до машины и увезла его домой, в единственное место, где он еще чувствовал себя комфортно. И там они приготовили ужин для всех нас. Ты отправился на поиски Тобиаса, надеясь засорить его строгий лютеранский разум чепухой о вооруженных бандитах и федеральных маршалах. А я сидел там за столом с Джеком Боутоном, который не проронил ни слова. Он еще немного раздумывал перед уходом. На ужин дома у отца он не явился, и никто ничего не сказал, но я знаю, что всех это беспокоило. Твоя мама и Глори прогулялись, когда убрали со стола, чтобы насладиться вечером, как они сказали. Вернувшись, они рассказали, что видели Джека, и он сообщил им, что придет домой позже. По их виду я понял, что они обнаружили его в баре. Подробностей они не раскрыли, да Боутон и не спрашивал.

У Джека Боутона есть жена и ребенок.

Он показал мне их фотографию – разрешил поглядеть всего полминуты, а потом убрал ее. Я немного растерялся, он, должно быть, этого ожидал, но я все равно понял, что ему стоило больших усилий не оскорбиться. Видишь ли, его жена – из цветных. Это действительно удивило меня.

Вчера утром я сидел у себя в кабинете в церкви, просматривал какие-то старые бумаги и думал, что отложу самые интересные, которые пойдут в настоящие архивы, а не в мусорный бак. Все помещение заставлено ящиками с документами, журнальными статьями, листовками и счетами за коммунальные услуги. Похоже, я никогда в жизни ничего не выбрасывал. Боюсь, новому священнику не хватит терпения все это разобрать, и в этом, несомненно, буду виноват я.

Что ж, я сидел там, ощущая, что покрываюсь пылью и паутиной, и испытывая тягостную печаль. И, должен сказать, боялся, что кто-то отвлечет меня, потому что я и так с трудом заставил себя заняться этим. Я еще полчаса там не провел, а уже устал.

И тут пришел Джек Боутон, снова в костюме и при галстукe и снова опрятный и чисто выбритый. Но вид, несмотря на все это, у него был немного потрепанный, а в глазах читалась усталость, благослови его Бог. Мне стало любопытно, зачем он пришел, при этом чувство любопытства пересиливало радость от его присутствия, это я признаю. Я не мог

поговорить с ним должным образом, поскольку лицо и руки у меня были перепачканы, так что я извинился и пошел умыться. Когда я вернулся, он все еще стоял у двери: я забыл предложить ему присесть – он так и стоял. Он был довольно бледен, и я устыдился собственной невнимательности. Но он так боится непреднамеренно оскорбить человека, что соблюдает правила поведения, которые многие люди забывают, едва услышав о них. В итоге это выглядит так, словно он хочет пристыдить тебя. Мне уже приходилось испытывать подобные ощущения, по меньшей мере, хотя я знаю, что в моем отношении такие обвинения были бы несправедливы.

Потом, когда он сел, я принялся убирать ящики со стола, а он встал и взял один из них прямо у меня из рук. Это было очень мило с его стороны, но все равно немного разозлило меня. Я бы лучше упал замертво, делая что-то сам, чем прожил хоть один лишний день в беспомощном состоянии. Но он делал это с благими намерениями. Он поставил обе коробки на пол, и его руки покрылись пылью, как и перед пиджака, так что он достал носовой платок и стряхнул пыль. Я предложил пойти в церковь, но он сказал, что кабинет его полностью устраивает. Мы немного посидели там молча.

Потом он сказал:

– Я довольно долго не приезжал в город. Главным образом из почтения к отцу. Я мог бы никогда не вернуться.

Я спросил, что заставило его передумать. Он поразмыслил, прежде чем дать ответ.

– По ряду причин я почувствовал, что мне нужно поговорить с ним. С моим отцом. Но, – произнес он, – почему-то, приехав сюда, я не ожидал, что он так состарился.

– Последние несколько лет сильно подкосили его.

Он закрыл глаза рукой.

Я сказал:

– Твой приезд пошел ему на пользу.

Джек покачал головой.

– Вы вчера говорили с ним.

– Да. Похоже, он переживает за тебя.

Он засмеялся.

– Пару дней назад Глори сказала мне: «У него слабое здоровье, мы же не хотим свести его в могилу». Мы! Однако это правда. Я *не хочу* его убивать. Поэтому я подумал, что лучше мне поговорить с вами. Это моя последняя попытка, обещаю.

Я еле сдержался, чтобы не сказать ему, что и я не отличаюсь крепким

здоровьем. Но это было бы глупо, поскольку, если хорошо подумать, едва ли хоть какое-то из его откровений могло стать для меня большим ударом.

Он достал из нагрудного кармана маленький кожаный футляр, открыл его и протянул мне. Рука его дрожала, а мне пришлось надеть очки для чтения, и тогда я все разглядел. Передо мной был фотопортрет – он, молодая женщина и мальчик пяти или шести лет. Женщина сидела на стуле, мальчик стоял рядом с ней, а позади них находился Боутон-младший. Это был Джек Боутон, цветная женщина и мальчик-мулат.

Боутон посмотрел на фотографию, потом захлопнул футляр и положил его обратно в карман со словами:

– Видите ли, – он сдерживал себя изо всех сил, но в голосе проявилась горечь. – Видите ли, еще у меня есть жена и ребенок.

Потом он просто наблюдал за мной минуту-другую, явно в надежде на то, что я не захочу его оскорбить.

– Хорошая семья, – сказал я.

Он кивнул.

– Она прекрасная женщина, да и мальчик тоже замечательный. Я счастливый человек. – Он улыбнулся.

– Ты боишься, что это может убить твоего отца?

Он пожал плечами.

– Это едва не убило *ее* отца и мать. Они проклинали тот день, когда я родился. – Он засмеялся и дотронулся до лица. – Как вы знаете, у меня большой опыт в том, что касается провоцирования людей, но это уже совсем другая тема.

Я был занят собственными мыслями, и он сказал:

– А может, и нет. Может, это мне так кажется, – и уставился на собственные ладони.

Я спросил:

– Давно вы женаты? – И тут же пожалел об этом.

Он закашлялся.

– Мы женаты перед Богом, как принято говорить. Господь не выдает свидетельств, как и не поддерживает законы против расового смешения. Незримый Бог, проявляющий исключительную благосклонность. Уж простите, – он улыбнулся. – Перед Богом мы вместе около восьми лет. Всего мы прожили как муж и жена семнадцать месяцев, две недели и один день.

Я заметил, что здесь, в Айове, таких законов никогда не было, и он сказал:

– Да, Айова – это сверкающая звезда радикализма.

И я спросил, приехал ли он сюда, чтобы сочетаться браком.

Он покачал головой:

– Ее отец не хочет, чтобы она выходила за меня замуж. Он, кстати, тоже священник. Полагаю, это неизбежно. Есть один добрый христианин в Теннесси, друг семьи, который готов жениться на моей жене и усыновить ребенка. Они думают, это весьма любезно с его стороны. Полагаю, так оно и есть. Они верят, что так будет лучше для всех, – сказал он. – Дело в том, что мне было довольно сложно заботиться о семье. Время от времени они уезжали в Теннесси, когда становилось совсем тяжело. Сейчас они тоже там. При таких обстоятельствах я не могу просить ее окончательно порвать с семьей. – Он закашлялся.

Мы помолчали. Потом он сказал:

– Знаете, почему я не нравлюсь ее отцу? Он полагает, что я атеист! Делла говорит, он считает всех белых атеистами, а разница между ними в том, что лишь некоторые это осознают. Делла – это моя жена.

– Что ж, слушая тебя, я действительно пришел к заключению, что ты атеист, – сказал я.

Он кивнул.

– Возможно, правильнее будет сказать, что я пребываю в состоянии категорического безверия. Я не верю даже в то, что Бог не существует, если вы понимаете, о чем я. Разумеется, это тоже волнует мою жену. Отчасти из-за меня, отчасти из-за нашего сына. Какое-то время я пытался лгать ей. Когда я рассказал правду, она, наверное, подумала, что спасет меня. Как я уже говорил, познакомившись со мной, она приняла меня за представителя духовенства. Многие думают так же. – Он рассмеялся. – Как правило, я разубеждаю их. Так же я поступил и с ней.

Так вот, факт в том, что я не знаю, как все это принял бы Боутон-старший. Я удивился, осознав это. Думаю, этот вопрос мы никогда не поднимали, хотя за долгие годы чего только не обсуждали. Просто такая тема не возникала.

Я сказал:

– Я так понимаю, ты все рассказал Глори.

– Нет, я не могу это сделать. Я разобью ей сердце. Она понимает, что я что-то задумал. Вероятно, она решила, что я в беде. Да и отец тоже.

– Полагаю, так оно и есть.

Джек кивнул.

– Вчера он плакал. – Он посмотрел на меня. – Я снова разочаровал его. – А потом произнес, сдерживаясь изо всех сил: – Я не получил ни одной весточки от жены, с тех пор как уехал из Сент-Луиса. А я так ждал

этого. Я много раз ей писал. Как там сказано в притчах? «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце»^[33]. – Он улыбнулся. – Я даже начал употреблять алкоголь, чтобы успокоиться.

– Я так и понял, – заметил я. И он рассмеялся.

– «Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею...»^[34]

Правильно?

Слово в слово.

Он сказал:

– Первые слова, с которыми она обратилась ко мне, звучали так: «Спасибо, ваше преподобие». Она шла домой под дождем с огромной стопкой книг и документов – она работала учительницей – и выронила какие-то бумаги, они упали на дорогу, а ветер разметал их. И я помог ей все собрать, а потом проводил до двери, потому что у меня был зонт. Я не особенно задумывался над тем, что я делаю. Ох, уж эти безупречные манеры...

– Ты хорошо воспитан.

– Что да, то да, – согласился он. – Ее отец сказал, что если бы я был джентльменом, то оставил бы ее в покое. Я понимаю, почему он так говорит. У нее была хорошая жизнь. А я не джентльмен. – Он не позволил мне возразить. – Вы знаете, что означает это слово, преподобный. Хотя могу сказать, что под влиянием жены я изменился к лучшему, пусть и на время.

Потом он произнес:

– Не хочу утомлять вас этими разговорами. Знаю, что помешал вам. Я объясню, почему пытался поговорить с вами.

Я ответил, что он может занимать мое время сколь угодно долго. Он ответил:

– Вы очень любезны. – Потом, помолчав немного, продолжил: – Если бы мы нашли способ жить вместе, думаю, она вышла бы за меня замуж. Это могло бы удовлетворить самые серьезные претензии ее семьи, полагаю. Они говорят, я не смогу обеспечить своей семье достойную жизнь, и до настоящего времени так оно и было.

Он откашлялся.

– Если у вас действительно есть время меня выслушать, я объясню. Благодарю вас. Видите ли, я познакомился с Деллой не в самую лучшую пору моей жизни. Не хочу вдаваться в подробности. Делла благоволила ко мне и была очень мила. Так что я стал чаще ходить по той улице в нужное время, периодически встречал ее, и мы разговаривали. Клянусь, у меня не было никаких намерений на ее счет, как достойных, так и не очень. Мне просто нравилось смотреть на ее лицо. – Он засмеялся. – Она всегда говорила: «Добрый вечер, ваше преподобие». В те времена я еще не привык, чтобы ко мне обращались как к уважаемому человеку. Должен сказать, мне это нравилось. Так получилось, что я начал ходить по ее улице, не думая о встрече с девушкой, а просто потому, что мне было приятно вспоминать о ней. Однажды вечером мы встретились, поговорили немного, и Делла пригласила меня на чай. Она снимала жилье вместе с женщиной, которая преподавала в школе для цветных. Все прошло

замечательно. Мы устроили чаепитие втроем. Я признался тогда, что я не священник. Так что она знала об этом. Наверное, она пригласила меня главным образом потому, что у нее сложилось такое впечатление, но я был честен с ней на этот счет. Казалось, это не имело большого значения.

Я толком не знаю, как это произошло. Как-то я занес ей книгу, которую купил специально, чтобы дать почитать ей, сделав вид, будто книга из моей библиотеки. Я даже загнул уголки некоторых страниц. И Делла пригласила меня на ужин в честь Дня благодарения. Она знала, что я не в самых лучших отношениях с семьей, и сказала, что не может позволить мне отмечать праздник в одиночестве. Я сказал, что неуютно чувствую себя в обществе незнакомых людей, и она пообещала: все будет хорошо. И все же я немного выпил, прежде чем прийти, да и опоздал. Я думал, что попаду на какую-то встречу, но она сидела там совершенно одна с крайне несчастными видом.

Я извинялся, как мог, и порывался уйти, но она сказала: «Ну-ка садитесь!» И мы сидели и ели в полном молчании. Я похвалил ее стряпню, а она сказала: «Возможно, когда я только что приготовила ужин, он и правда был вкусным». Потом она произнесла: «Опоздал на два часа, еще и напился». И ведь она была права. Я решил, что нечего мне там делать, не заслужил я ее уважения, и так расстроился, что сам удивился. Я встал, поблагодарил ее, извинился и ушел.

Лишь миновав пару домов, я понял, что она идет следом. Подойдя ко мне, девушка произнесла: «Я просто хотела сказать: не нужно так переживать». А я ответил: «Теперь мне придется проводить вас домой». А она засмеялась и ответила: «Конечно, придется». Я так и поступил. А потом домой пришла та женщина, ее соседка Лоррейн. У них в церкви состоялся торжественный ужин, и Делле пришлось извиняться, что она осталась дома из-за плохого самочувствия. К тому моменту мне уже давно следовало уйти, но я сидел там, и мы все радостно ели тыквенный пирог. Что могло скомпрометировать нас еще больше?

Он засмеялся:

– Все было очень прилично. Но каким-то образом слухи долетели до Теннесси, и ее сестра пожаловала в гости, явно намереваясь отвадить меня от их дома. Я приходил по вечерам со сборником поэзии, и мы читали друг другу стихи, в то время как ее сестра сидела рядом и смотрела на меня испепеляющим взглядом. Это было нелепо. Это было прекрасно. Когда закончился учебный год, приехали братья Деллы и забрали ее в Теннесси. Она оставила для меня прощальную записку у Лоррейн. Я знал, что ее отца найти несложно, ведь он священник, так что поехал в Мемфис и разыскал

его церковь – очень большую африканскую методистскую епископальную церковь – и на следующее утро отправился послушать, как он проповедует. Разумеется, я знал, что там будет и Делла. И надеялся поговорить с ним. Думал, что смогу ему понравиться, если буду вести себя честно и по-мужски, знаете ли. Я начистил ботинки и подстригся.

Церковь была набита битком, и я сидел сзади, но был там единственным белым, и люди обращали на меня внимание. Сестра Деллы пела в хоре, так что она, разумеется, заметила меня. Стало ясно, что и ее отец догадался, кто я, по тому, как он смотрел на меня. Он проповедовал о тех, кто прикрывается овечьей шкурой, оставаясь в душе голодным волком. Еще он говорил о повапленных гробах, в которых покоятся останки мертвых и все нечистое. Конечно, все это время он смотрел на меня.

Но я все же заставил себя заговорить с ним в дверях и произнес: «Я только хотел заверить вас, что моя дружба с вашей дочерью соответствовала всем рамкам приличия». И он ответил: «Будь вы приличным человеком, вы оставили бы ее в покое».

Я сказал: «Так я и поступлю. Я приехал сюда, чтобы заверить вас в этом». Разумеется, я лгал. Я и правда намеревался прекратить видеться с ней, но это намерение сформировалось лишь в то самое утро, которое я провел в его церкви. Я думал, что смогу возвысить Деллу в глазах семьи, если покажусь ему весьма приличным человеком, а я не видел иной возможности сделать это, кроме как уйти. Еще я понял, какая хорошая у нее была жизнь. Даже не знаю, зачем я туда поехал. Но я точно не собирался уезжать, не поговорив с ней. Однако так и не поговорил. В тот же вечер я уехал в Сент-Луис. Не знаю точно, впечатлила ли его моя галантность, зато знаю, что она впечатлила Деллу. Потом наступила осень, и я оказался на ее улице, как бывало каждую неделю, и встретил ее. Я приподнял шляпу, а она разразилась слезами, и с того момента мы стали считать себя мужем и женой.

Слухи дошли до Теннесси, и семья почти отреклась от нее. Потом она забеременела, и ее уволили из школы. Я тогда занимался продажей обуви, это не приносило больших денег, зато было легально. Ее мать приехала за пару недель до рождения ребенка и обнаружила, что мы влачим нищенское существование в гостевом доме в самой неприятной части города. Это было унижительно. Разумеется, мы не могли найти хорошее место для жилья, а портье в гостинице, где мы снимали комнату, брал с меня лишние деньги за то, что закрывал глаза на наши отношения и ничего никому не рассказывал. Он знал, какой закон мы нарушаем, и намекал на это фразами

вроде «губительное сожительство», «распутное сожительство». Непристойность. Почему-то я всегда забываю это слово. Вы и представить не можете, как усложняют жизнь эти слова.

Потом приехал ее отец с братьями, и мы впятером серьезно поговорили о благополучии Деллы, причем разговор начался со слов: «Ваше счастье, что я христианин». Человек внушительный во всех отношениях, он убедил меня сказать Делле, что ей нужно поехать домой, где о ней позаботятся. Я так и поступил, и она уехала с ними. Какая невыносимая тоска! Какое облегчение! Мысль о ребенке так пугала меня. В глубине моей измученной души я знал: что-то пойдет не так, и она все видела, и ее это задевало, я понимал. Я говорил Делле, что приеду в Мемфис, как только накоплю достаточно денег. На это мне потребовалась не одна неделя, потому что у меня были долги, и люди, которым я задолжал, нашли меня. Я предполагал, что так случится, поэтому отпустил ее с радостью, но, конечно, не мог всего ей объяснить. Наконец, я написал отцу и сообщил, что мне нужны деньги. Он долго не получал от меня вестей, как минимум год, и прислал в три раза больше, чем я просил. А еще он прислал записку о том, что вы женитесь.

В то время у реки проходили собрания под тентами. Я приходил туда каждый вечер, потому что там были толпы людей и шум, хотя алкоголь и не лился рекой. Как-то вечером человек, стоявший подле меня, так же близко, как вы сейчас, упал на землю, словно его подстрелили. Встав, он протянул руки ко мне и сказал: «Я избавился от бремени! Я стал как маленький ребенок!» Я подумал: если бы я стоял на два фута левее, то мог бы оказаться на его месте. Конечно, это всего лишь шутка. Но правда в том, что, если бы я поменялся с ним местами, вся моя жизнь стала бы другой в том смысле, что я смог бы посмотреть в глаза отцу Деллы, как и, быть может, собственному отцу. Меня перестали бы считать угрозой для души моего собственного ребенка. Этот человек стоял передо мной с опилками в бороде, восклицая: «Я был худшим из грешников!» – и смотрел на меня так, что это подтверждало истину его слов. И так он рыдал, раскаиваясь и испытывая облегчение, а я стоял и наблюдал за ним, засунув руки в карманы, сгорая от беспокойства и стыда. И некоторого изумления, если вы простите меня за эти слова. Но на следующий день пришло письмо от отца, я купил себе приличное пальто, билет на автобус, и дела мои наладились.

Я приехал в Мемфис и узнал, что ребенок родился накануне. Дом наводняли родственницы и женщины из церкви, которые ходили туда-сюда. Меня впустили внутрь и разрешили посидеть в углу. Думаю, никто

не знал, что со мной делать, до тех пор пока ее отец не пришел домой, поэтому все продолжали заниматься своими делами. Если бы погода была лучше, то, думаю, меня оставили бы на крыльце. Одна женщина сказала мне: «Они в порядке. Они просто спят». И принесла мне газету – большая любезность с ее стороны. Теперь, когда мне было куда смотреть, я не чувствовал себя столь неуютно.

Когда ее отец явился домой, комната опустела и в доме наступили тишина и спокойствие. Я встал, но он не захотел пожать мне руку. Беседу он начал со слов: «Я так понимаю, вы не ветеран». Ах! Я солгал ему что-то насчет проблем с сердцем, но тут же пожалел об этом, ибо такие речи звучали неправдоподобно. Однако на самом деле мне не следовало беспокоиться, потому что было ясно: он не поверил ни единому моему слову. Как я помню, во Второзаконии говорится, что трусливым не следует служить в армии. «И еще объявят надзиратели народу, и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце»^[35]. Так что я получил предупреждение еще из Священного Писания, хотя решил не упоминать о нем.

Отец Деллы сказал: «Я так понимаю, вы потомок Джона Эймса из Канзаса». Разумеется, любой мог бы рассказать ему правду, но я подумал: быть может, в этом его заблуждении будет хоть какая-то польза для меня. Естественно, он имел в виду вашего деда. Это было его первое положительное замечание обо мне. Он сказал, что знал людей, семьи которых приехали из Миссури еще до войны. Видимо, они рассказывали о нем какие-то удивительные истории, о рейдах и засадах. Я сказал, что слышал рассказы о старике в детстве, и это правда. В основном это были байки о том, как он удирает от преследователей с нестиранным бельем, но об этом я умолчал. Помню, отец рассказывал однажды, что когда был еще мальчиком, старик пришел в нашу церковь и сидел сзади, а когда тарелка для сбора пожертвований дошла до него, просто высыпал все в свою шляпу.

Это правда, мой дед всегда подозревал пресвитерианцев в страсти к накоплению денег, так что это вполне правдоподобно. И он действительно использовал эту шляпу так часто, как только мог.

Джек продолжал свой рассказ:

– Пару минут мы поговорили о делах насущных, но мне нужно было проявлять максимум осторожности. Я не так уж много знал о былых временах, поэтому не рискнул соврать и просто сказал, что моя семья приняла пацифистские взгляды по окончании войны. А он не поддержал

дальнейшую дискуссию. Это правильно, я полагаю?

Абсолютно.

– Он знал мое полное имя, потому что именно так Делла хотела назвать ребенка. Я испытал невероятное облегчение, услышав об этом. Ее отец сказал: «Она ждала тебя». И я просто просидел всю вторую половину дня у ее кровати и немного говорил с ней, когда у нее хватало сил. То и дело я смотрел на ребенка. Женщины уносили его, когда он плакал. Потом меня покормили. Я подумал, быть может, все налаживается, но они всего лишь старались следовать заветам христианства. Вечером ее отец сказал, что будет лучше, если я уеду. Он произнес: «На этот раз я не стану взывать к вашей чести». Полагаю, он действительно имел право так говорить. Они заботились о ней, и я не понимал, чем могу помочь. Так что я решил, что лучше вернуться в Сент-Луис, найти приличную работу и накопить денег, а потом что-то придумать. Она говорила, что хочет привезти ребенка домой, имея в виду Сент-Луис.

Я оставил ей столько денег из того, что прислал отец, сколько мог. А через три месяца она с сестрой и ребенком приехала в свою старую квартиру, где жила Лоррейн и где я познакомился с ней. На тот момент я обзавелся новой комнатой, очень чистой и дешевой, однако хозяева придерживались строгих правил, а это значит, меня выкинули бы на улицу, если бы я заявился домой с цветной женой и ребенком. Я не мог позволить себе вернуться к нищете, если хотел накопить хоть что-то. Я так и не вернул ничего отцу. Ни цента.

Все эти годы мы так и скитались. Она уезжала в Мемфис, когда становилось совсем туго, ради мальчика. Это чудесный ребенок. Я верю, что он никогда ни в чем не нуждался. У него есть дяди и кузены, а дед – отец Деллы – боготворит его.

Моего сына зовут Роберт Боутон Майлз. Он очень добр ко мне, относится с уважением и старается быть вежливым. В моем обществе он ведет себя не так естественно, как ваш сын.

Наконец, примерно два года назад, мне удалось получить работу, которая приносила небольшой доход. Я внес первоначальный платеж за дом в цветном квартале, и Роберт с Деллой приехали. Дом не бог весть какой, но я покрасил его и нашел какие-то ковры и стулья. Мы прожили там почти восемь месяцев. Но потом мы расслабились и все вместе отправились в парк, а мой начальник как раз прогуливался там со своей семьей. На следующий день он вызывал меня в кабинет и сказал, что его репутация может пострадать. Я ударил его, что было крайне глупо с моей стороны. Ударил дважды. Он упал на стол и сломал ребро. Я думал, что

убедил его не сообщать в полицию, пообещал оплатить медицинские счета и как-то возместить причиненное неудобство, но в тот же вечер к нам заявились полицейские и провели разговор на тему нарушения закона о сожительстве. Это было унижительно, но я сохранял хладнокровие. Думаю, отцу и мужу нужно держаться подальше от тюрьмы, когда это возможно. Я отправил семью на автобусе в Мемфис, сдал дом в аренду. Отдал собаку соседу.

Уладив все вопросы, я приехал сюда, надеясь, что найду способ поселиться здесь с семьей, то есть с женой и сыном. Я даже подумал, что было бы здорово представить Роберта моему отцу. Я хотел бы, чтобы он знал: наконец-то мне есть чем гордиться. Он такой красивый мальчик, и очень умный. И, поверьте, он получает церковное воспитание. Он хочет стать проповедником. Но теперь я вижу, как слаб здоровьем мой отец, и не хочу убивать его. Правда, не хочу. У меня и так тяжкий груз на плечах.

– Вы же не станете говорить, что это кара Божия? – спросил он.

– Об этом я думал меньше всего.

– Я был почти уверен, что могу положиться на вас в этом плане.

– Спасибо, – ответил я.

Он глубоко вдохнул и сказал:

– Вы так хорошо знаете моего отца.

– Но не могу дать тебе точный совет. Я не хотел бы ошибиться. Ты должен дать мне время поразмыслить над этим.

Потом он сказал:

– Если бы речь шла о вас, а не о моем отце...

Теперь я понял, почему он так поставил вопрос: поскольку мы с Боутоном мыслим почти одинаково. Но вопрос был не так прост, как могло показаться на первый взгляд, и я задумался.

С минуту он наблюдал за мной, потом улыбнулся и произнес:

– Да вы и сами заключили несколько... нетрадиционный брак. Вы знаете кое-что о том, каково это – быть в центре скандала. Неравные отношения, и так далее. Разумеется, Делла – образованная женщина. – Именно так он и сказал.

Вот это уже было похоже на него. Эта подлость. Его замечание совершенно не относилось к делу. И я никогда не чувствовал, что оказался в центре скандала из-за брака. Твоя мать – женщина в высшей степени утонченная. Если некоторые люди и комментировали что-то, я прощал их так быстро, что успевал забывать об их словах. Ибо они не имели права судить нас, и я это знал, и они тоже должны были это знать.

Но тут на его лице отразилась страшная усталость, и он закрыл его

руками. И мне оставалось лишь одно – простить его.

В минуту колебаний я размышлял о следующем: я настолько привык видеть подлость в основе любого его поступка, что мог бы усомниться в мотивах, по которым он, связавшись с этой женщиной, не женился на ней и представил мне этого ребенка. Полагаю, я мог бы и ошибиться, но вопрос был не в том, как мне реагировать, а в том, какую ответственность я несу за ту или иную реакцию. С Боутоном все могло быть совершенно иначе, поскольку он был о Джеке куда лучшего мнения, как мне всегда казалось, и я произнес:

– Я захотел бы познакомиться с ребенком. Особенно, если бы ты объяснил мне все так, как только что сделал. – И чуть погодя добавил: – Он, несомненно, был привязан к тому, другому ребенку.

Боутон-младший одарил меня таким взглядом, который я никогда раньше не видел. Он побелел как полотно. Потом улыбнулся и сказал:

– Венец стариков – сыновья сыновей^[36].

Я сказал:

– Ты должен простить меня за эти слова. Глупо было говорить такое. Я устал. И я стар.

– Да, – согласился он очень сдержанно. – И я отнял у вас слишком много времени. Спасибо. Я знаю, что могу положиться на ваше пасторское благоразумие.

– Мы не можем закончить разговор на этом, – возразил я. Однако я так устал и расстроился, что сил у меня хватило лишь на то, чтобы встать со стула. Он остановился у двери, а я подошел к нему и обнял его. На мгновение он положил голову мне на плечо.

– Я устал, – произнес он. Я буквально ощущал его одиночество. Я должен был стать для него вторым отцом. Хотелось сказать что-то на эту тему, но мне это показалось слишком сложным, к тому же я слишком устал, чтобы подумать о возможных последствиях. Это могло прозвучать так, словно я пытаюсь поставить знак равенства между его прегрешениями и моими, хотя на самом деле я имел в виду лишь то, что он лучше, чем я всегда думал о нем.

И я сказал:

– Ты хороший человек.

Он посмотрел на меня явно оценивающим взглядом, засмеялся и ответил:

– Можете поверить мне на слово, ваше преподобие, бывают и хуже. – А потом добавил: – А как насчет этого города? Если бы мы приехали сюда и поженились, мы могли бы тут жить? Люди не докучали бы нам?

Что ж, я не знал ответа и на этот вопрос, но полагал, что смогли бы.

– В негритянской церкви случился пожар, – заметил он.

– Небольшое возгорание. К тому же дело было много лет назад.

– Да, а еще много лет прошло с тех пор, как тут вообще была негритянская церковь.

Разумеется, мне особо нечего было возразить.

– Вы пользуетесь тут большим авторитетом, – заметил он.

Я сказал, что это, возможно, и правда, но никак не мог обещать, что проживу достаточно долго, чтобы суметь им помочь. Я упомянул о проблемах с сердцем.

На это Джек ответил:

– Я не имею никакого права утомлять вас своими проблемами.

После этого мне подумалось, что я все равно ничем не мог ему помочь. У меня создалось впечатление, что мы хорошо пообщались, хорошо и здраво, я так и сказал, а он кивнул и попрощался, но, помолчав немного, произнес:

– Не важно, папа. Наверное, я все равно их уже потерял.

А потом я сидел, положив голову на стол, и прокручивал наш разговор в уме, и молился, пока не пришла твоя мама. Она решила, что у меня случился какой-то приступ, и я не стал ее разубеждать. Мне казалось, для этого были все основания, к тому же я все равно ничего не мог ей рассказать.

Ты можешь задаться вопросом, для чего я все это написал и каков был мой замысел с церковной точки зрения. С одной стороны, так я размышляю над предметами и явлениями. С другой – он тот человек, о котором ты, возможно, ни одного доброго слова не услышишь, и я просто не вижу иного способа открыть тебе глаза на его душевную красоту.

Это было два дня назад. Снова наступило воскресенье. Когда служишь в церкви, тебе все время кажется, что сегодня воскресенье или воскресный вечер. Только заканчиваешь приготовления к одной неделе, как уже начинается другая. Сегодня утром я читал отрывки из одной старой проповеди (твоя мама то и дело приносит их мне). Она написана на основе Послания к Римлянам: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось неосмысленное их сердце...»^[37] и так далее. Я ссылался на Исход из Ветхого Завета и понятие тьмы египетской. В проповеди я критиковал рационализм, иррационализм, делая акцент на мысли, что как в том, так и в другом случае превозносится создание, а не Создатель. Я

решил просмотреть ее, но, читая, удивлялся, ибо местами она казалась мне правильной, а местами – катастрофически ошибочной. И на протяжении всего чтения мне казалось, что это написал другой человек. Джек Боутон тоже пришел в своем поношенном костюме и галстук. Он сидел рядом с тобой, и ты был очень доволен, как и твоя мама, полагаю.

Что ж, это совершенно не согласуется с моим понятием проповедничества – стоять на кафедре и считать с пожелтевших страниц слова, которые когда-то казались мне верными. Одной темной ночью я просто пытался преуменьшить очевидное, когда сидел и пытался облечь мысли в слова. И вот во втором ряду сидит Боутон-младший, который всегда видел меня насквозь. И я, вновь убедившись, что он может войти в церковь с какой бы то ни было циничной надеждой прикоснуться к живой Истине, вынужден был озвучивать эти мертвые слова, пока он сидел и улыбался, глядя на меня. Я в самом деле думаю, есть некий смысл в том, чтобы связать рационализм с иррационализмом, то есть материализм и идолопоклонство, и если бы у меня были силы отклониться от текста, я мог бы изречь умную мысль. А так я просто прочел проповедь, пожал всем руки, пришел домой и лег вздремнуть на диван. У меня возникло ощущение, что Боутон-младший мог бы найти успокоение в том, что моя проповедь не имела никакого отношения к тому, что произошло между нами, не имела никакого отношения к нему, благослови его Бог, этого несчастного дьявола. На самом деле, стоя там, я жалел, что у меня более нет оснований, которые питали бы мои старые страхи. Это изумило меня. Я чувствовал себя так, как будто готов завещать ему жену и ребенка, если бы мог, чтобы возместить его потерю.

Сегодня утром я проснулся с мыслью, что этот город с таким же успехом мог бы находиться в аду, если взглянуть правде в глаза, и я повинен в этом, как и все остальные. Я думал о том, что произошло здесь при моей жизни – засухи, грипп, и Великая депрессия, и три ужасные войны. Теперь мне кажется, что мы так и не смогли отвлечься от всех этих преследующих нас бед и задать себе очевидный вопрос, а именно: что Господь пытается донести до нас? В английском языке слово «проповедник» произошло от старого французского слова «*prédicateur*», которое означает «пророк». Так в чем предназначение пророка, если не находить смысл в злоключениях?

Что ж, мы так и не задали вопрос, и вопрос у нас забрали. Мы стали как люди, не ведающие Закона, люди, которые не отличают правую руку от левой. И просто оказались в затруднительном положении. Чужак может

задаться вопросом, почему здесь вообще вырос город. Да и наши дети могут задать такой же вопрос. Только кто им ответит? Это всего лишь захолустный маленький аванпост в песчаных холмах на огромном расстоянии от Канзаса. И таково его предназначение. Это одно из тех мест, куда могли направиться Джон Браун и Джим Лейн, когда им понадобилось бы подлечиться и отдохнуть. Должно быть, существует не меньше сотни таких маленьких городков, основанных в разгар былой необходимости, о которой давно все забыли, а их малость и ветхость, которые тогда свидетельствовали о храбрости и страсти, с какими их строили, теперь смотрятся странно, нелепо, провинциально. И это мнение разделяют даже те люди, которые прожили здесь достаточно долго, чтобы все понимать. Для меня это место тоже выглядит нелепо. Я в самом деле подозреваю, что никогда не выезжал отсюда, потому что боялся покинуть его навсегда.

Я уже упоминал, что мои отец с матерью покинули город. Что ж, так оно и было. Эдвард купил участок земли у северного побережья Мексиканского залива и построил одноэтажный дом для собственной семьи и для них. Главным образом он сделал это, чтобы вывезти мать из этого жуткого климата, и это было очень мило с его стороны: с возрастом ее ревматизм становился все хуже. Мысль заключалась в том, что они проживут там год, а потом вернутся в Галаад и будут уезжать на юг лишь зимой, пока отец не уйдет на пенсию. Этот год стал первым, когда я облачился в сутану священника. Но они так и не вернулись, а только приезжали два раза навестить меня. В первый раз – когда я потерял Луизу, а во второй – когда пытались уговорить меня уехать с ними. Во второй их приезд я попросил отца провести службу в церкви, а он покачал головой со словами: «Я больше не могу это делать».

Отец сказал, что не хотел привязывать меня к этому месту. На самом деле отец надеялся, что я захочу более интересной жизни, чем здесь. Они с Эдвардом были убеждены, что более широкий опыт дал бы мне очень многое. Отец говорил, что, когда смотришь на Галаад из другого места, он выглядит как реликт, как некий архаизм. Когда я упомянул о славной истории городка, он рассмеялся и сказал: «Старые несчастные древние дела и битвы, которые закончились много лет назад». И его слова вызвали у меня раздражение. Он говорил: «Ты только посмотри на это. Каждый раз, как только дерево вырастает до нормальных размеров, налетает ветер и ломает его». Мой отец изучал чудеса внешнего мира, а я твердо укреплялся в намерении не подвергаться риску познания этих чудес. Он говорил: «Я осознал, что здесь мы жили в пределах понятий, которые не только устарели, но и ограничены пределами этого места. Хочу, чтобы ты понял:

ты не обязан хранить им верность».

Он думал, что может снять с меня обязательство хранить верность, как будто это верность ему, как будто это какая-то ошибка, совершенная с благими намерениями, которую он мог исправить за меня, как будто речь шла по крайней мере не о верности самому себе и можно рассматривать это все в отрыве от веры в Господа. А ведь я уже тогда знал, как знаю и сейчас, спустя много лет, что Господь превосходит любое понимание, которое у меня может сложиться о Нем, что делает верность Ему совершенно иным явлением, отличным от каких бы то ни было обычаев, доктрин и воспоминаний, которые я могу связывать с Ним. Я знал это тогда и знаю теперь. Насколько невежественным отец меня считал? Я читал Оуэна, и Джеймса, и Хаксли, и Сведенборга, и, прости Господи, Блаватскую, и он это прекрасно знал, поскольку буквально читал их через мое плечо. Я выписывал «Нейшн». Я никогда не был Эдвардом, но не был и глупцом и никогда не скрывал своих мыслей.

Не помню, чтобы я сказал ему что-то обидное, хотя он и застал меня врасплох. Что ж, ему удалось лишь одно – вызвать тоску по дому, который я никогда не покидал. Мне не верилось, что он говорит со мной так, словно я недостаточно компетентен, чтобы распоряжаться своей верностью самостоятельно. Как я мог принять совет человека, который был обо мне столь невысокого мнения? Таковы были мои мысли в тот момент. Такой выдался день. Потом, через неделю или около того, я получил от него письмо. Я уже говорил тебе об одиночестве и тьме и тогда думал, что уже хорошо знаком с этими чувствами, но в тот день на меня словно вылили ушат холодной воды. Я никогда не чувствовал себя именно так, и эта вода лилась еще много-много лет. Мой отец заставил меня вернуться к самому себе и к Господу. Это факт, так что мне не о чем жалеть. То письмо принесло мне великую печаль, но вместе с тем стало уроком.

Как бы там ни было, почему я задумался над этим? Я размышлял о неудовлетворенности и разочарованиях жизни, коих великое множество. Я не был предельно честен с тобой в этом отношении.

Сегодня утром я пошел в банк и обналичил чек, подумав, что это хоть как-то поможет Джеку. Я думаю, ему, вероятно, нужно поехать в Мемфис, может, не прямо сейчас, а через какое-то время. Я отправился к Боутонам и ждал его появления, болтая ни о чем, теряя драгоценное время, пока не улучил возможность поговорить с ним наедине. Я предложил ему деньги, а он засмеялся, положил их обратно в карман моего пиджака и сказал:

– Что вы делаете, папа? У вас же нет никаких денег. – Потом его взгляд похолодел, как это обычно бывает, и он произнес: – Я уезжаю. Не

беспокойтесь.

Я взял твои деньги, деньги твоей матери, а это совершенно жалкая сумма, и попытался отдать их, и вот как он это воспринял.

Я спросил:

– Значит, ты собираешься в Мемфис?

И он ответил:

– Куда угодно. – Улыбнулся, откашлялся и добавил: – Я получил письмо, которого ждал.

Сердце сковали тиски. Боутон сидел на своем кресле производства Уильяма Морриса и смотрел в никуда. Глори сказала, что за все утро он вымолвил лишь одну фразу: «Иисусу так и не довелось состариться!» Глори расстроена, а Джек в гневе, и они поддерживали со мной светский разговор, недоумевая, когда же я уйду, а я жалел, что никак не могу уйти. Потом наступил момент, когда я смог предложить Джеку небольшую помощь, ради которой и пришел, и в итоге только обидел его.

Когда я вернулся домой, твоя мама заставила меня прилечь, а тебя отправила на улицу с Тобиасом. Она опустила шторы, опустилась рядом на колени и долго гладила меня по голове. Отдохнув немного, я встал, написал это и вскоре буду перечитывать.

Джек уезжает. Глори так расстроена из-за него, что даже пришла ко мне поговорить об этом. Она вызвала всех братьев и сестер, увещевая их бросить мирские заботы и приехать домой. Она считает, Боутону недолго осталось.

– Как он может уезжать именно сейчас! – сокрушалась она.

Это справедливый вопрос, я полагаю, но, думаю, что знаю ответ. Дом заполнится этими уважаемыми людьми, их мужьями, женами и хорошенькими детьми. Как он может стоять посреди этой толпы, скрывая печальное и прекрасное сокровище в глубинах своей души? Ведь у меня тоже есть жена и ребенок.

Могу сказать тебе вот что: если бы я женился на какой-нибудь прекрасной даме и она подарила бы мне десятерых детей, а каждый из них подарил бы мне десятерых внуков, я покинул бы всех их в канун Рождества, в самую холодную ночь в мире, и прошел бы тысячу миль, чтобы увидеть твое лицо и лицо твоей матери. И если я не найду вас, то утешусь этой надеждой, моей одинокой и единственной надеждой, которой нет во всем Мироздании, а есть она лишь в моем сердце и сердце Господа. Я не могу найти слов, чтобы выразить Господу благодарность за чудо, которое он скрыл от мира (конечно, если не считать твоей матери) и

открыл мне в твоём милом обычном лице. Добрые братья и сестры Боутоны устыдятся своих богатств на фоне жалкого существования Джека, а он все равно предпочел бы любым богатствам то, что потерял, как бы горько это ни звучало. В таком состоянии находиться невыносимо, и мне это прекрасно известно.

А старый Боутон, если бы мог встать с кресла, оставив позади немощь, чудачество, печаль и все, что его сдерживает, покинул бы своих прекрасных детей, успешных и уверенных, и последовал за тем сыном, которого никогда не знал, о котором всегда заботился, и заступился бы за него так, как не может никакой отец, защитил бы его силой, которой у него нет, поддержал щедростью, которую не мог позволить себе даже в самых смелых мечтах. Если бы Боутон мог быть собой, он простил бы каждый проступок как в прошлом, так и в настоящем и в будущем, независимо от того, имел ли место грех на самом деле и должен ли он его прощать. Вот что было бы настоящим расточительством. Хотел бы я на это посмотреть.

Как я уже говорил, я сам был хорошим сыном, если можно так выразиться, из тех, кто никогда не покидал отчий дом, даже когда его покинул мой отец. Поэтому у меня безупречный послужной список. Я из тех праведников, для которых ликование на небесах будет сравнительно ограничено. И это нормально. Нет справедливости в любви, нет нужных пропорций, да и не должно быть, ибо в каждом конкретном случае это лишь мимолетный взгляд или парабола всеобъемлющей непостижимой реальности. Это не имеет никакого смысла, ибо вечное разбивается о временное. Так разве может любовь подчиняться причине или следствию?

Нужно прожить достаточно долго, чтобы пересилить любое ощущение печали, которое может родиться в твоей душе. Это еще одна причина, по которой следует следить за здоровьем.

Думаю, пора заканчивать это письмо. Я перечитал его по диагонали и обнаружил для себя кое-что интересное. Главным образом то, как я вновь включился в реальную жизнь в процессе написания. То ожидание смерти, с которого я начал, теперь представляется мне свидетельством молодости. Новизна этого понимания кажется мне весьма интересной.

Сегодня утром я видел, как Джек Боутон шел к автобусной остановке. Он был слишком худым для своей одежды и нес чемодан, в котором, казалось, ничего не было. И выглядел он совсем не молодым. Он был похож на человека, за которого ты вряд ли согласишься выдать замуж свою дочь. При этом вид у него был элегантный и смелый.

Я окликнул его, он остановился и подождал меня, и мы вместе дошли до автобусной остановки. Я взял с собой «Сущность христианства», которую держал на столике у двери, надеясь, что мне представится возможность передать эту книгу ему. Он покрутил ее в руках, забавляясь, какая она потрепанная, и произнес:

– Я помню ее еще с... целую вечность!

Быть может, он подумал, что книга похожа на одну из тех вещей, которые он прикарманивал в былые дни. Эта мысль промелькнула и у меня, и возникло ощущение, как будто книга и правда побывала у него. Думаю, она ему понравилась. Я загнул уголок на двадцатой странице. «Лишь в том, что существует отдельно от моего бытия, я могу усомниться. Как тогда я могу усомниться в Господе, который есть часть моего бытия? Сомневаться в Господе все равно что сомневаться в самом себе». И так далее. Я запомнил эти слова и много чего еще, что мог бы обсудить с Эдвардом, но не хотел омрачать то время, что мы проводили вместе, играя в мяч, а потом подходящей возможности так и не представилось.

Я чувствовал, что осталось еще два момента, которые я должен был донести до него во время наших бесед. Первый – тот факт, что доктрина не есть сама вера, это лишь один из способов говорить о вере, а другой – это греческое слово *sozo*, которое обычно переводят как «спасенный», однако оно также может означать «исцеленный», «восстановленный» и все в таком роде. Так что традиционный перевод сужает значение слов, создавая ложные ожидания. Я подумал, ему не помешало бы знать о том, что милость не настолько бедна – она может существовать в целом многообразии форм. Что ж, я сам завел этот разговор. Я знал, что он, должно быть, слышал примерно то же самое от своего отца уже много раз. Я подумал, что никто не должен испытывать такое одиночество, как он, шагая по дороге совсем один. И, полагаю, Джек был рад хоть какой-то компании. Он кивал время от времени с самым учтивым видом.

Пока мы шли, его взгляд останавливался на предметах, на которые никогда не обращаешь внимания, пока живешь в городе, – обшарпанный фронто́н, тропинка к пустырю, гамак между тополем и палкой, на которую крепят веревку для сушки белья. Мы миновали церковь. Он обронил:

– Я никогда больше не увижу это место. – И в его голосе слышалась печаль, которая была мне знакома. Я испытал волнение и сказал:

– Позаботься о себе. Когда-нибудь ты можешь им понадобится.

Через минуту Джек кивнул, согласившись с тем, что это возможно.

Потом он остановился, посмотрел на меня и произнес:

– Знаете, я ведь сейчас опять совершаю наихудший из возможных

поступков. Снова уезжаю. Глори никогда меня за это не простит. Она говорит: «Так оно и есть. Это просто шедеврально».

Он улыбался, но в его глазах читался истинный страх, некое изумление, и он действительно мог испытывать такие чувства. Он в самом деле поступал ужасно, оставляя отца умирать без него. За это его мог бы простить только сам отец.

И я сказал:

– Глори говорила со мной об этом. Я попросил ее не судить тебя, поскольку она может не знать всех обстоятельств.

– Спасибо.

– Я понимаю, почему ты уезжаешь, правда, понимаю. – И эти слова были истинной правдой. Еще скажу тебе, что, как бы удивительно это ни звучало, в тот самый момент я испытывал благодарность за то, что моя душа познала такую горечь.

Он откашлялся.

– Значит, вы не станете возражать, если я попрошу вас попроситься с отцом вместо меня?

– Я готов это сделать. Разумеется, я готов.

Я не знал, как продолжить разговор, но не хотелось покидать его, и, как бы там ни было, мне пришлось сесть на скамейку подле него из-за сердца. Так мы и сидели.

Я сказал:

– Если ты примешь пару долларов из моих денег, то окажешь мне любезность.

Он засмеялся и ответил:

– Видимо, так мне будет легче устроиться.

И я дал ему сорок долларов, а он взял двадцать и двадцать вернул мне. Мы еще немного помолчали.

Потом я произнес:

– На самом деле мне хотелось бы благословить тебя.

Он пожал плечами.

– И как это будет выглядеть?

– Что ж, я представляю это так: я положу руку тебе на лоб и попрошу Господа защитить тебя. Но если это тебя смущает... – На улице было несколько человек.

– Нет, нет, – сказал он. – Эти прохожие не имеют для меня никакого значения.

Он снял шляпу, положил ее на колени, закрыл глаза и опустил голову, почти положив ее на мою ладонь, и я благословил его, как только мог,

процитировав строки из Книги Чисел, конечно. «Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!»^[38] Ничто не может быть прекраснее этого и выразить мои чувства лучше или полнее, если уж рассуждать об этом. Увидев, что он не открывает глаз и не поднимает головы, я добавил:

– Благослови Бог Джона Эймса Боутона, любимого сына, и брата, и супруга, и отца.

Тогда он снова сел и посмотрел на меня так, словно мы очнулись от сна.

– Благодарю вас, ваше преподобие, – произнес он таким тоном, как будто ему показалось, что я перечислил все титулы, которых он лишился, хотя я не имел это в виду. Отнюдь, у меня были совсем другие намерения. Что ж, как бы там ни было, я сказал ему, что благословить его – большая честь для меня. И это была чистая правда. На самом деле стоило пройти духовную семинарию и посвящение и прожить все эти годы ради одного этого мгновения. Джек просто изучал меня, как он это обычно делает. Потом приехал автобус.

Я сказал:

– Мы все любим тебя, знаешь.

И он засмеялся и произнес:

– Вы все святые.

Он остановился в дверях автобуса и поднял шляпу, а потом он уехал, благослови его Господь.

Я добрался до церкви, вошел внутрь и долго отдыхал там. Я был уверен, что разглядел в лице Боутона, когда он шагал рука об руку со мной, некую иронию в связи с тем, что вселил надежду в это печальное старое место, и тем, какую цену ему пришлось заплатить за отъезд. И я знал, что это была за надежда. Галаад внушал мысль о том, что здесь можно жить спокойно, если не причинять никому вреда. «Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от множества дней. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его»^[39]. Это пророчество, видение пророка Захарии. Он говорит, что людям представится чудесное зрелище, и это может быть справедливо для людей в любом уголке этого печального мира. Играть вечером в мяч, вдыхать запах реки, слушать стук проходящего поезда. Когда-то эти маленькие городки были храбрыми бастионами, призванными защищать именно такой мир.

Похоже, твоя мама хочет, чтобы каждый ужин был моим любимым. Часто она подает котлеты и обязательно готовит десерт. Она ставит на стол свечи, потому что теперь уже рано темнеет. Подозреваю, она позаимствовала их из церкви, но это не страшно. Она часто надевает синее платье. А ты уже вырос из красной рубашки. За столом собралась вся семья старого Боутона, за исключением того, к кому тянется его душа. Они выражают почтение и приглашают к себе на ужин, но в последние дни нам нравится проводить время дома, втроем. Ты приносишь с собой запах вечера с улицы, твои глаза сияют, а щеки и пальцы порозовели и замерзли, это слишком прекрасное зрелище для моих старых глаз при свете свечей. Прохлада утихомирила всех насекомых. Похоже, сама темнота заставляет нас говорить тише, как будто мы заговорщики. Твоя мать возносит хвалу Господу и намазывает маслом хлеб. Я в самом деле жалею, что Боутон не видел, как его мальчик принял благословение, как он склонил голову. Если бы я только мог рассказать ему, если бы он все понял, то позавидовал бы, что не видел этого, позавидовал бы, что не он благословил его. Это почти то же самое, как если бы я почувствовал его руку на моей руке. Что ж, я могу представить его за пределами этого мира, как он оглядывается на меня в изумлении, ибо он осознал: «Вот почему мы прожили эту жизнь». Есть тысячи тысяч причин прожить эту жизнь, и каждая из них будет достаточной.

Я пообещал Боутону-младшему, что попрощаюсь за него с отцом, так что я прогулялся до их дома после ужина, когда, как я знал, старик уже будет крепко спать. Когда комната опустела, я прошептал пару слов. Мой добрый друг уже почти ушел из этого мира, и тучи сгустились над его мирским пониманием. А в его слухе я сомневаюсь уже несколько лет. Я знал, что, если произнесу это имя, когда он бодрствует, он постарается собраться и будет жадно вслушиваться в каждое слово. Я создал бы в его душе волнение, которое ни тогда, ни когда бы то ни было еще в моей жизни не смог бы усмирить никакими средствами. Как будто какие бы то ни было мои слова могли бы приподнять для него завесу тайны хоть с одной стороны. Он остался бы один на один со своими печальными умозаключениями, а у меня просто не было сил смотреть на это.

Я подумал, как хорошо было бы, будь все, как у древнего Иакова, чтобы любимый сын, которого он потерял, привел для благословения чудесного маленького Роберта Боутона Майлза. «Не надеялся я видеть твое лицо; но вот, Бог показал мне и детей твоих»^[40]. Мне доставляла радость мысль о том, как прекрасно это могло бы быть, столь же прекрасно, как любое видение ангелов. Мне кажется, что когда что-то должно быть

истинным, в нем заложена сильнейшая истина, и она навевает мне мысли о небесах. Что ж, я много думаю об этом, как тебе известно.

Бедная Глори поставила рядом с кроватью Боутона стул для меня, и я посидел с ним немного. Когда-то я залезал в эту комнату через окно под покровом утренней темноты и будил его, чтобы отправиться на рыбалку. Его мать сердилась, если мы и ее будили, так что мы старались не шуметь. Иногда он просто не желал просыпаться, и я дергал его за волосы, тянул за ухо и шептал всякую ерунду. Если мне удавалось придумать какую-нибудь глупость, то он просыпался со смехом. Это было давно. И вот он спал передо мной вчера вечером на правом боку, как всегда, в объятиях Господа, несомненно, хотя я знал, что если разбужу его, то он вернется в Гефсиманский сад. Поэтому я произнес, пока он спал: «Я благословил твоего мальчика. Я все еще чувствую тяжесть его лба на моей ладони. Я сказал, что люблю его так, как ты хотел, чтобы я его любил. Теперь я уверен, что молитвы твои наконец услышаны, старина. И мои тоже, мои тоже. Нам долго пришлось ждать, не правда ли?»

Уходя, я увидел, что Глори стоит в коридоре, наблюдая за тихим разговором в гостиной. Там сидели ее братья и сестры с женами и супругами, с детьми, взрослыми и не очень. Они обменивались новостями, беседовали о политике и играли в червы. Еще больше родственников собралось на кухне и на втором этаже. В дверях я встретил еще пять или шесть человек, которые вышли на прогулку. Мне стыдно, что я не задумывался до сих пор, как тяжело ей, наверное, было отпустить Джека и остаться одной в этом бурном вихре плодородия и радости, остаться одной и терпеть эту тактичную и искреннюю доброту, без единой улыбки, которая помогла бы ей преодолеть бесконечную череду испытаний. И некому было ее защитить, и нет ничего хуже, чем оставить человека вот так. Тогда лишь один Господь может принести утешение.

Иногда мне кажется, как будто Господь раздувает эти угасшие серые угли Мироздания, и тогда они загораются на мгновение, или на год, или на время жизни. А потом все возвращается в привычное состояние и, глядя на них, уже не догадаться, что здесь когда-то был огонь или свет. Вот о чем я рассуждал в проповеди в честь Троицы. Я размышлял над этой проповедью, и в ней есть доля правды. Но Господь более постоянен и куда более расточителен, чем хочет казаться. Куда бы ты ни посмотрел, мир может засиять, словно прошел через преобразование. Тебе и пальцем не нужно для этого пошевелить, лишь проявить готовность это увидеть. Только у кого хватит смелости открыть на это глаза?

Я просто попрошу твою маму сжечь мои старые проповеди. Дьяконы займутся этим. Их хватит на то, чтобы развести большой костер. Я тут подумал о хот-догах и зефире, чтобы отметить первый снег. Разумеется, она может отложить те из них, которые захочет сохранить, но я не хочу, чтобы она тратила на них силы и время. Когда-то они имели значение, а может, и нет, пора положить этому конец.

Есть два случая, когда священная красота Мироздания становится ослепляюще очевидной, и они идут рука об руку. Первый возникает, когда мы ощущаем нашу земную недостаточность в этом мире, а второй – когда мы ощущаем, насколько этот земной мир недостаточен для нас. Святой Августин говорит, что Господь любит каждого из нас как единственного ребенка, и это должно быть правдой. «И отрет Бог всякую слезу с очей их»^[41]. И я не умалю красоту этих слов, если скажу, что именно это и будет нужно.

Теологи говорят о предшествующей милости, которая предваряет саму милость и позволяет нам принять ее. Я думаю, здесь должна быть и предшествующая смелость, которая позволяет нам быть храбрыми, то есть признать, что не вся красота видна нашему глазу, и не все ценные предметы вручили нам в руки, и что пренебрегать ими значит причинять большой вред. Таким образом, эта смелость позволяет нам, как говорили древние, найти себе полезное применение. Она позволяет нам быть великодушными, а это еще один способ сказать то же самое. Но так говорят проповедники. Что я могу оставить тебе, кроме обломков былой храбрости и простейших знаний о галантности и надежде? Что ж, как я сказал, все это теперь превратилось в угли, и добрый Господь, конечно, в один прекрасный день снова раздует пламя.

Я люблю прерию! Я часто наблюдал, как восходит солнце, и свет затопляет горизонт, и все начинает сиять. Слово «добрый» так прочно укоренилось в моей душе, что я искренне удивляюсь, как мне позволили приобщиться к такому действию. Быть может, в начале нового дня бывают и более приятные моменты «при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости»^[42], но я придерживаюсь иной точки зрения, а они и так ликуют и восклицают, и у них есть на это полное право. Здесь, в прерии, ничто не отвлекает от любования утром и вечером, ничего нет на горизонте, чтобы сократить день или отложить ночь. С этой точки зрения горы могут вызвать только раздражение.

Мне кажется, это довольно по-христиански – быть неприметным и не привлекать внимания, как наш городок. Я и представить не могу, что рано или поздно ты уедешь отсюда, и, если ты так поступишь или собираешься, это будет правильно. Весь Галаад и в самом деле есть воплощение надежды, хотя она уже начала истощаться и истощается все больше. Но даже истощенная надежда все равно остается надеждой.

Я люблю этот городок. Иногда я думаю, что мне нужно обрести вечный покой именно здесь, в знак неистовой любви. И я тоже буду медленно тлеть здесь, до тех пор пока весь мир не озарит великий и всеобщий свет.

Я буду молиться, чтобы ты вырос смелым человеком в смелой стране. Я буду молиться, чтобы ты нашел для себя полезное применение.

Я помолюсь, а потом пойду спать.

Примечания

1

Мизерокардия (от лат. misericordia) – «милосердие». – *Здесь и далее примеч. пер.*

2

Послание ап. Иакова, 3:5, 6.

3

Евангелие от Матфея, 13:14.

4

Свободные земли – территории на западе США, где рабовладение было запрещено еще до Гражданской войны.

5

Книга Иова, 1:21.

6

Книга Притчей Соломоновых (далее – Притчи), 27:7.

7

Джейхокер – так называли канзасских партизан – противников рабства.

8

Евангелие от Матфея, 18:10.

9

Псалтирь: 132:1–3, синодальный перевод.

10

Нумерация псалмов в Псалтири, переведенной на западноевропейские языки, не совпадает с нумерацией псалмов в Псалтири на церковнославянском и русском языках. Дело в том, что перевод делался с разных источников. Подробнее об этом см.: www.pravoslavie.ru/answers/7074.htm

11

ВДШТ... ЧРСТ2 – известная английская и американская детская игра-скороговорка, основанная на звучании названий букв и цифр: если их произнести быстро, можно различить определенные слова.

12

Намек на фразу из Евангелия от Матфея, 6:28, 29.

13

«...Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала?»

14

Аллюзия к пьесе У. Шекспира «Как вам это понравится», где герцог произносит фразу: «Да, сладостны последствия несчастья». (Перевод П. Вейнберга.)

15

См.: Книга пророка Малахии, 3:2 («Ибо Он – как огонь расплавляющий и как щелок очищающий»).

16

Браун, Джон (1800–1859) – один из первых белых аболиционистов в США, боровшихся за отмену рабства.

17

Линдберг Чарлз (1902–1974) – американский летчик, первым перелетевший Атлантический океан в одиночку.

18

Послание к Римлянам, 12:10.

19

Книга пророка Исаии 3:15 (сокращенный вариант).

20

Послание к Римлянам, 7:24.

21

Первое послание к Коринфянам, 15:51, 52.

22

Сравните: «Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь» (Исаия, 55:8).

23

Собрание под тентами – форма молитвенных собраний сторонников и последователей «духовного возрождения», распространившаяся в 1870-х годах. На собрании разъездной проповедник призывал слушателей принять прощение грехов через веру в Иисуса Христа, совершить духовное очищение молитвой, чтением Библии и пожертвованиями в пользу церкви.

24

Цитата из Евангелия от Матфея 18:10 («Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного».)

25

С необходимыми поправками (*лат.*).

26

Слово в слово (*лат.*).

27

Евангелие от Матфея, 11:6.

28

Тем более (*фр.*).

29

Первое послание к Коринфянам, 2:11.

30

Притчи, 11:24.

31

Книга песни Песней Соломона, 2:5.

32

Книга пророка Иезекииля, 28:13.

33

Притчи, 13:12.

34

Притчи, 31:6.

35

Второзаконие, 20:8.

36

Притчи, 17:6.

37

Послание к Римлянам, 1:21.

38

Числа, 6:25–26.

39

Книга пророка Захарии, 8:4–5.

40

Бытие, 48:11.

41

Откровение Иоанна Богослова, 21:4.

42

Книга Иова, 38:7.